



Игорь
Дьяков

Лето
бородатых
пионеров

Игорь Дьяков

**Лето бородатых
пионеров (сборник)**

«Алисторус»

2011

Дьяков И. В.

Лето бородатых пионеров (сборник) / И. В. Дьяков —
«Алисторус», 2011

Автор 30 лет работает в журналистике. Из них 25 – в нормальной, прорусской. Предлагаемая книга включает в себя лиро-публицистические работы разных лет. В них в известной мере отражаются катаклизмы последних десятилетий и соответствующие искания-переживания поколения «семидесятников», несколько растерянно встретившего «перестройку» и с ходу попавшего в жернова реформ. Мы на эшафоте вместе с нашей Родиной, со всем русским народом. Но автор – против апатии и, тем более, отчаяния. Веселый стоицизм – его кредо. Надеемся, книга «Лето бородатых пионеров» станет духоподъемной для многих читателей. Автор же будет счастлив, если она хоть сколько-нибудь поможет молодым не натворить лишних глупостей, ровесникам – не лезть в петлю или в бутылку, старикам позволит испытать чувство жизнелюбивой ностальгии по не столь уж давнему прошлому. Странное дело: некоторые тексты, в свое время казавшиеся банальными, с годами обретают признаки документов времени... Большая часть работ публикуется впервые.

© Дьяков И. В., 2011

© Алисторус, 2011

Содержание

Начало	5
1	5
2	7
Минск	10
Чунай	13
Маккартни	20
О пользе арифметики	26
Глава первая	26
I	26
II	27
III	28
IV	31
V	33
VI	36
VII	37
Глава вторая	39
I	39
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Игорь Викторович Дьяков

Лето бородатых пионеров

Сборник

Начало

1

Бабуля заторопилась. Дородные хозяева – дальние родичи – налили напоследок яблочной наливки и пошли провожать до калитки, цокая языками при виде иссиня-серого неба. В августе на Украине оно означало неминуемый ливень.

Четырехлетний внучек держался за подол грубого бабулиного платья, но не отставал от нее, уверенно ступавшей по тропинке вдоль крашенных сплошных заборов. Он старался глядеть на бабулины домашние тапки, – никакая другая обувь на ее, скрученные ледяными арыками эвакуации ноги, ей не подходила.

Тревожно зашелестели вишневые сады. Их шелест вскоре сменился гулом осоколей, стоящих у реки, шумом высокой прибрежной травы.

«Как было хорошо вчера, и как страшно сегодня!» – мелькнуло в стриженной почти наголо, с оставленным крохотным чубчиком, громадной голове внука. Накануне он с бабулей был в парке на сельскохозяйственной выставке. Сверкающие огнями витрины безо всяких стекол... Добрые тети и дяди, «колгоспныкы та колгоспныці», которые не говорили, как соседи во дворе – «ця дытына рахит!» – наоборот, подарили внуку огромное красное, как закатное солнце на Псле, яблоко, которое он, счастливый, грыз, порская соком.

...Первые капли попали за шкуру, и внучек поежился. Бабуля сняла тапочки, сунула их в авоську, подхватила внука на руки и ускорила шаг.

В больших теплых руках ему стало совсем нестрашно, и он с любопытством стал всматриваться в совсем почерневшее небо. Громыкнуло.

– Ах, ты, сукин-сын камаринский мужик... – запела бабуля, отвлекая. – Задрал ноги и по улице бежит...

Они уже переходили дощатый мостик через узенькую речку, когда теплый вечер, еще недавно такой приветливый, расколола с неба до земли белая, по-змеиному бесшумная, молния.

Бабуля пригнулась, накрыв внука. И в этот миг страшно затрещало все вокруг. Внуку показалось, что сверху сейчас на них обвалится что-то огромное, и придавит их вместе с бабулей. Он охнул испуганно и закрыл глаза. Но страх не проходил. Ему виделся черный зев входа в городской собор. Всякий раз, когда они возвращались домой вечером, он просил бабулю перейти на другую сторону: загадочной и враждебной казалась ему бездонность высокого входа.

Но всякий раз он находил полное успокоение в их кирпичном домике, где одни окна были увиты диким виноградом, а другие весело дребезжали, когда по улице проходил грузовик. Умывшись в медном рукомойнике и покушав, внучек ложился, и они, выключив свет, долго слушали музыкальные передачи из репродуктора-тарелки. Даже непонятные новости перед полночью звучали сладко-сладко. И интересно было следить за квадратами света, ползущими по простенькому ковру, старинным фотографиям на стене, изъеденному древоточцем шкапу. Потом, если не засыпали после гимна Советского Союза, бабуля рассказывала какие-нибудь

истории «из старой жизни». Она никогда не заставляла внука спать, и потому на всю жизнь он становился «совой».

А однажды, когда у бабули жили студентки, они показали внуку, как светит солнце. Его ставили прямо под лампочку – и тени совсем не было! – а отводили в сторону – она появлялась.

Теперь студенток не было, но не появлялся и покой. Как ни хлопала в ладоши бабуля, как ни старалась развлечь. Ему было так тревожно, что он, съеженный, боялся развернуться. Его била дрожь, но он не плакал, и это уже напугало бабулю, хотя он не плакал никогда.

Она достала какой-то платочек, развернула его и достала иконку в серебряном окладе – единственную, которая сохранилась после эвакуации, и жарко зашептала молитву, сбиваясь и не поправляя взлохмаченные волосы.

Внучек не разбирал слов и постарался сам, как ему казалось, успокоиться. Он заставил себя распрямиться, потрогал привычную кушетку, поковырял пальцем приклепанный к стоявшему рядом комоду рисунок с победоносным советским танком и солнышком в уголке, пролепетал: «Ияек спит», и вмиг уснул.

В ту ночь ему приснился очень тревожный, самый тревожный из возможных, сон. Из ниоткуда появлялась крохотная точка, которая начинала стремительно расти и то, во что она превращалась, заполняло все. Это происходило устрашающе быстро. И сон этот потом много раз повторялся. Когда внучек вырос, то стал думать, что в ту ночь он почувствовал, что мир состоит не только из добра и что Бог – есть...

2

– Олэна, Олэна – жаба зэлэна! Олэна, Одэна – жаба зэлэна!..

Надтреснутый голос Сереги, старшего брата Оли, занудно стоял над двором. Серега не знал, где спряталась сестра, а искать ее ему было лень. Он уже вспотел, кепка сбилась на затылок, но Серега продолжал трещать так, чтобы слышно было везде, где могла быть сестра:

– Олэна, Олэна – жаба зэлэна!

Пятилетняя «Олэна» же выбирала подарок соседскому Игорьку. Сидя в зеленой нише в зарослях сирени, завешанной покрывалом с томными оленями, она рассматривала открытки с актерами советского кино – самую большую свою ценность. Примерялась то «под Шагалову», то «под Кириенко», то «под Гурченко», да так увлеклась, что совсем забыла, для чего вытащила эту пачку из дому.

Они с Игорьком были единственными ровесниками во дворе, и никогда не ссорились. За длинными сараями, в садах, у них были заветные места, где хорошо уплетался «белый налив» и пенки от вишневого варенья, сдобренные бутылочкой «Буратино». Но это как бы по праздникам. В другое время «князь Игорь и княгиня Ольга», как звал их сосед Павло, бульдозерист, работали в «мастерской» – на небольшой свалке металлолома, где выправляли гнутые миски-чайники-тазы. Если же был дождь – они бегали босиком по обильным ручьям, быстро возникавшим вдоль улицы.

Сейчас Игорек с бабой Таней разбивали ящики «на дрова». Вернее, Игорек отдирали железные ленты, их скрепляющие, а баба Таня крушила ящики на доски. Игорек был весь в угольных пятнах, но Оля знала, что скоро они приведут себя в порядок и пойдут в гости отмечать его пять лет.

– От же ж дурень! – про себя, не желая ссориться с соседями, проговорила бабуля, косясь на нудящего Сергея. И била обухом по очередному ящику.

Во двор, покрытый густой травой, то и дело являлись соседи. Игорек знал, кто из них – союзник, кто – недруг. Хотя все было не так просто – ясных контуров между теми и другими нередко не было. Вот «Алифиринчиха» – статная седовласая старуха в бусах из больших стеклянных шаров – она «своя», но и с недругами водится. Как и мать Ольги, тетя Валя, дородная хохлушка, на веселом лице которой все время готовность или посудачить, или всласть поругаться. Отец же, дядя Митя, был скорее «свой», потому что ни в какие дразги не лез, работал и на заводе, и по хозяйству. До всего руки не доходили. Вот уже который раз Игорек приезжает к бабуле, а автомобиль у дяди Митинога сарая хоть и становился все новее, но с места не трогался. Не мог тронуться. Дядю Митю Игорек уважал за то, что тот был каким-то настоящим, трудягой. И за то, что в детстве дружил с его, Игорька, дядей, Леней. На кирпичной стене у их высокого, кирпичного же, крыльца с отбитой местами штукатуркой, они на веки вечные вырезали острием напильника свои имена.

Среди совсем «своих» числилась бабка Оли – низенькая, похожая на кочан капусты, но сильнющая Мария Ивановна. Их с бабулей, чувствовал Игорек, связывало столько лет, столько воспоминаний, что она оставалась «своей» несмотря ни на что.

В их «лагере» было большое семейство Костроменко. Глава его, дед Григорий, работал на заводе еще с его, Игорька, дедом, которого он не помнил, потому что тот умер за восемь лет до его рождения от туберкулеза. Деда Григория все взрослые уважительно именовали «уполномоченным». Востроносенький, в круглых очках, с калининской бородкой и в широкой кепке, он, в основном, по надобности пересекал двор деловито, слегка наклоняясь вперед. Чувствовалось, что во дворе он – самый уважаемый человек., и уж если вмешается, то не в какие-нибудь бабьи перебранки, а во что-то посерьезней.

Бабуля всегда приветствовала его, невольно слегка наклоняясь: «Здравствуйте, Григорий Кондратыч!» Не из-за того, что он был значительно ниже ее, а из глубокого, непонятного Игорьку, почтения, которое он с удовольствием перенял.

Детей у Костроменко было много, и «уси удалыся». Поразъехались кто в Харьков, кто аж в Москву. Один сын стал доктором технических наук и работал на заводе электронных микроскопов. Это звучало настолько величественно, что все соседи даже робели называть его имя – будто космонавт какой-то.

Вдруг бабуля замерла, рука с топором беспомощно повисла. Игорек поднял глаза и увидел Жоржа, последнего из сыновей деда Григория. Красивый, черноволосый, он стремительно шел мимо них, сверкая щетиной, босой. Полы незаправленной рубашки развевались, как белье на ветру. Жорж был, видимо, человеком выдающимся, и тоже «технарь», как все Костроменки. Но упал с мотоцикла, ударился головой и сошел с ума.

Игорьку было очень жалко Жоржа. Когда Костроменчиха, железная старуха, казавшаяся Игорьку древнее самих Сум, единственная, кто из всех ходил в церковь и соблюдал все посты, причем открыто и твердо, начинала в разговоре с бабулей говорить о сыне что-то жестокое, она становилась для Игорька настоящей бабой Ягой. Он не мог понимать тогда, что баба Катя только бабуле могла излить свое горе о сыне, жизнь которого была еще трагичней, чем у «просто» сумасшедшего: у него бывали просветления. Они для бабы Кати становились новым испытанием: память о блестящем Жорже являлась слишком явно, и жесткие слова ее были для нее защитой в эти минуты. Укорами баба Катя отгоняла и страшное предчувствие того, что Жорж, на время прозрев, когда-нибудь поймет свое положение, увидит себя со стороны и наложит на себя руки. Через несколько лет так оно и случилось...

Пока же от невольного сострадания умолк даже Серега. Но как только Жорж скрылся из виду, он продолжил свое бесконечное устное послание сестре.

С «врагами» все было яснее. Это были соседи по коммуналке, некогда бывшей одной квартирой, выданной заводом деду. Игорька поражало, что обе фурии именовались Мотьками, и потому чудесное имя Матрена надолго стало для него синонимом чего-то враждебного, а, главное, ужасно горластого.

Мотьки как бы дополняли друг друга. Одна была тяжелоногая, темноволосая, с высокой прической. Овдовела она недавно, но Игорек по малости лет смутно помнил первые в его жизни похороны долговязого старика Ивана. Она любила доступный ей уют, и то тут, то там устраивала беседки для чаепитий, навесики для белья. Клетки ее с цыплятами выгодно отличались от стоявших на траве двора клеток соседей. Горласта была изрядно.

Другая, жена бульдозериста Павла, имела редкие рыженькие волосики, остренький носик и в основном пропадала на работе – торговала детскими книжками. В «сражениях» с бабулей она применяла не ор, а шипение. Потому оные баталии оркестрировались богато: гулом Мотьки-первой, шипением Мотьки-второй и вскриками бабули. Игорек не понимал причин постоянных ссор, как и внезапных примирений. Но было ясно, что в основе лежит квартирный вопрос. Бабуля не могла примириться с подселенцами – «кугутами», их же раздражала теснота их жилищ, каморок, по правде говоря, и относительный простор бабулиных двух комнат.

Игорек был, конечно, на стороне бабули, но его ни во что не ввязывали. По складу характера он примирял враждующие стороны. А бездетный Павло в нем вообще души не чаял.

Сегодня чуть свет он «отметил первую пятилетку» маленького соседа тем, что подарил ему целый клад медных монет, среди которых было несколько екатерининских пятаков. Их загадочная тяжесть потрясли его. Даже сейчас, отдирая ненужные железные ленты от ящиков, Игорек то и дело щупал в кармане драгоценную кубышку. Вскоре взрослые мальчишки надуют его, отсыпав массу легковесных монеток стран «народной демократии» и практически отняв отрытый бульдозером «клад».

Когда Павло приглашал Игорька смотреть телевизор, особенно чемпионаты мира по хоккею, бабуля нервничала, отпуская внука в стан «врагов». Но когда он начал вести турнирные таблицы, она поняла, что с первым мужским увлечением бороться не стоит.

Телевизор стоял на табуретке, поставленном на тумбочку. Павло лежал на высокой кровати, занимавшей большую часть комнатки, шустрая «Мотыка» хлопотала у печки, а Игорек наслаждался, высоко задрав голову и совсем не сознавая, что находится по ту сторону невидимой баррикады.

– Усэ! Пійдемо до дому!

Бабуля уложила последнюю вязанку досточек. Тут подросла и тетя Валя. Она встала посреди двора в свою главную бойцовскую позу – «руки в боки», и осипшему Сереге достался крепкий, направлением к дому, подзатыльник. Тетя Валя по-хозяйски оглядела весь двор и отправилась восвояси.

Из кустов сирени выглянула Олена и, зацепив клетку с цыплятами, подбежала к Игорьку, вручить подарок. Сначала она хотела подарить только Рыбникова, но потом добавила к нему и Черкасова, и Дружникова, и даже Бондарчука. Игорек часто бывал в кино, и лица эти воспринял как фотокарточки родных.

– Мыться, бриться, одеваться! – скомандовала бабуля.

Скоро они вдвоем не вышли, а выплыли, потому что были совершенно счастливы, и направились за подарком в магазин «на горке», вожделенный для Игорька магазин с казенным названием «Школьно-письменные принадлежности». Мальчишки рассказывали про чудеса, которые там продавались, но войти внутрь Игорьку предстояло впервые.

За спиной остался грандиозный, с портиком и колоннадой, с каскадами лестниц и памятником Фрунзе, Дворец культуры, в котором, думал Игорек, снимали фильм «Карнавальная ночь». Дворец, как музыкальная шкатулка огромных размеров, звучал гитарами и арфами, пианино и флейтами. В нем накапливались таинства киносеансов, – по три каждый день, с ежедневной сменой фильма. Он был славен паркетом и картинами, висящими на уровне огромных люстр. Но магазин «Школьно-письменные принадлежности» в эту минуту затмил собой все.

Наборы восковых фруктов совсем не напоминали о базаре, где бабуля вместе с Игорьком продавала яблоки, груши и сливы из своего сада. Всем своим видом они возвещали о совершенстве и порядке, существующих где-то в очень серьезных местах.

Чучела птиц и зверей – был даже кабан! – не напугали Игорька, как опасалась бабуля.

– А где они водятся, ба?

– У вас в Минске, уж точно.

Родители Игорька жили в военном городке под Минском, и бабуля вовсе не преувеличивала.

Диковинные колбы и аппараты, пластмассовые макеты гор и долин, а, главное, скелет с болтающимися ногами-руками потрясли «внучека». Он понял, что существует необъятный мир.

– А это – глобус, Игорек! Это тебе мой подарочек. Будешь хорошо учиться, повидашь много разных городов, стран. Смотри, как крутится!..

– А мы где, ба?

– Вот, видишь, красное, самое большое? «Со-вет-ский Со-юз»...

Минск

Четырехлетний Фома лежал в кроватке, по бокам которой еще были спускаемые-опускаемые младенческие сетки. Его лбина была придавлена холодным мокрым полотенцем. Он хотел стонать, но гордость не позволяла, и из всех физиологических звуков получалось только легкое попукивание.

Головища раскалывалась от нестерпимой боли.

Час назад испуганный отец привез его из бани, где они с компанией сокурсников по Минскому Высшему радиотехническому училищу задолго до появления «Иронии судьбы» предвзрительно отмечали новый, 1962-й, год. Пока разговлялись анекдотами, сын-карапуз поскользнулся, стоя на каменной лавке, и грохнулся с нее почти вертикально – голова на тонкой шейке соответствующим манером изменила траекторию полета.

Фома не плакал. Его сразу вырвало, из чего курсанты сразу поняли, что это – сотрясение мозга.

Дите старалось отвлечься, угадывая в деревянных разводах стены комнаты, которую снимали родители, разные картины. В основном это были цветочки, которые он видел под окнами бабулиного дома в Сумах. Но иной раз выплывали то диковинные звери, то неприятные физиономии неизвестных ему пока нелюдей.

Однако это развлечение время от времени прерывалось повторяющимся странным видением – в моменты, когда мальчик спал или терял сознание.

Где-то далеко, в невообразимой дали, на серо-голубом фоне, возникала крохотная точка, которая вдруг начинала расти, да с такой скоростью, что вмиг разрасталась до... всего, так что маленький Фома не мог разглядеть фазы разрастания. Просто – р-раз! – и нечто крохотное вдруг заполняло собой все видимое пространство.

Потом он видел встревоженные глаза отца, такие же серо-голубые, как исчезнувшее во сне «все».

– Фомчик, тебе лучше? – спрашивал папа, меняя полотенце. – Я сейчас елку принесу, наряжать будем! Мама за игрушками пошла.

– А Сеньор-Помидор будет?

– Обязательно!

Скоро мама, молодая и прекрасная, как правило, поющая и пританцовывающая, но сейчас притихшая из-за Фомы, принесла целую коробку елочных игрушек. Наряжать елку пока не стали – неугомонные родители ушли к соседям в соседний дом смотреть телевизор.

Тут же появился Вовчик Силкин, ровесник Фомы, живший с родителями через стенку в соседней комнате, – белобрысый человечек, которого можно было бы за подвижность прозвать вентилятором.

– Че тут? – первым делом спросил он, прямо направляясь к коробке с игрушками.

– Сам не знаю...

Фома стащил со лба полотенце, важно опустил «младенческую» сетку и подошел к коробке. Вовчик уже открыл ее и зачесал макушку:

– Во-ка-а!

Это была не коробка, а сказочный сундук с сокровищами. Переложенные ватой, сверкали добротные стеклянные шары с загадочными, как у раковин, впадинами – ни одного одинакового! Вовчик, как жадный пират, перебирал блестящие гирлянды, хитромудро устроенные стеклянные музыкальные инструменты, чуть не оторвал бороду у Деда Мороза из папье-маше...

А Фома... Фома сразу заметил Сеньора-Помидора – большую, богато и ярко разукрашенную фигуру строгого «дядьки», который, подняв бровь, испытывающим взглядом вперился в Фому из-под слоя ваты. Вот глянулся он Фоме, хотя и стоил целых 60 копеек!

Дите сделало шаг, и... то ли споткнулось, то ли что-то дернуло в голове, – и Фома грохнулся прямо на ящик.

Вовчик стряхнул с друга мелкие осколки. Оказалось, что мельчайшими были осколки Сеньора-Помидора – видно, эта работа была самая тонкая...

Рот Фомы изогнулся дугой концами вниз. Это была для него самая большая потеря в жизни. Он собрался было реветь, но Вовчик, не обращая внимания ни на что, вдруг сообщил:

– А знаешь, что родители смотрят? «Гусарскую балладу»!

– Что-о?

Фома враз позабыл о своем горе и своей гудящей голове. Этот новый фильм он смотрел уже три раза, но пропускать не мог. Фома просто «впадал» в чудесную и радостную атмосферу, где поют и скачут на конях, и эта атмосфера становилась для него родной, тем более в лесу, куда выводил его отец, были такие же ели и ложбины, в деревне – такие же кони, да и друзья отца курсанты казались Фоме гусарами. И ему было приятно, что наши всегда побеждают – и в кино (уже три раза), и в жизни (иного он и представить не мог).

Он набросил пальтецо. Вовчик, уже наспех одетый, стоял в дверях.

Все было сказочно-прекрасно. Тайнственная русская печь, за которой стоял кухонный столик родителей, столик, с которого Фома недавно стащил и съел кусочек сырого мяса, потому что уже где-то прослышал, что его можно есть, если смелый и если готовить негде или некогда. Потом – слева – дверь хозяев, тоже тайнственная, потому что Фома никогда не видел ее открытой, а сказку про Буратино и, соответственно, холст, уже слышал. Потом – деревянное крыльцо, добротное, многоступенчатое, которое было для него тем самым, из считалочки: «На золотом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич, сапожник, портной...» и, что самое непонятное и чарующее: «Кем ты будешь такой? Выходи поскорей, не обманывай добрых и честных людей». Фома не раз «проигрывал» прятки, потому что столбенел от детской ответственности при вопросе: «Кем Ты Будешь Такой?» Ему также не хотелось обманывать «добрых и честных людей», – а такими – добрыми и честными – были в его представлении все окружающие, – те, кого он знал или видел, или те, кого не знал и не видел. Но особенными, конечно, для него были поручик Ржевский и Лариса Голубкина (ею, именно актрисой, многожды и громкогласно восторгался отец).

Надо было пройти страшное место – курятник. Страшное потому, что хозяин, Семен Адамович, как-то предупредил их с Вовчиком, что туда ходить нельзя, потому как это вовсе не курятник, а место, где хранятся «цыганские головы»! Вовчик-то уже лазил туда недавно – хотел «познакомить» с курами своего гигантского белого плюшевого медведя, вот хозяин и придумал такую штуку, чтобы устроить бесстрашных. Они и устрашились. Сейчас выстиранный мамой Вовчика, тетей Тамарой, медведь сушился во дворе, припиленный прищепкой за ухо, и как бы разводил лапами – мол, видите, ничем помочь не могу, а так бы рад бы...

Когда «бесстрашные» вошли, Кутузов уже пытался нацепить Голубкиной орден. Зачарованные зрелищем, хлопцы разинули рты. Вовик восторженно шмыгнул, и оказался неправ. Отец – тоже Володя, но – дядя Володя, – не вставая со стула, дотянулся до сыночка. Звонкая затрещина нарушила пафос момента награждения «кавалерист-девицы». Дядя Володя с сыном был крутенок, но потом, через десятки лет, Вовик, могучий и перспективный советский офицер-технар, не стеснясь слез, будет неоднократно признаваться друзьям, что «бабка-то был прав». И всю жизнь любить «бабку» – до самой дяди Володиной безвременной кончины в 57 лет. «Что еще надо было со мной делать?» – уже радостно убеждал окружающих повзрослевший Вовик.

А пока он молча развернулся и зашагал домой.

Отец же Фомы пристально взглянул на сына, увидел зачарованный его взгляд, коим тот вперился в экран «Рекорда-Б», и тихо сказал:

– Иди ко мне. Давай, помогу пальто снять!

Мать что-то – известно, что! – попыталась сказать взглядом, но отец шепнул ей на ухо:

– Тихо! Не мешай. Казачок растет!

... Когда засыпающего Фому несли домой, ему почему-то мерещились не гусары, и не экран телевизора, а – розовые оттопыренные уши товарища по детскому саду Коли Мозовко. Дружбой с ним Фома гордился, потому что Коля первым принес в детский сад свинцовые «чушки» и ими точно попадал в столбики из копеек...

Чунай

Когда люди были как дети, когда народ был юн и преисполнен творческих сил, когда жизнь для него была самодостаточна и не требовалось никакого допинга для того, чтобы радоваться миру и быть полноценным участником реальной, а не выдуманной, жизни, – тогда народу было не до литературы. В ней попросту не было потребности.

Но явилась интеллигенция с ее всеразлагающей и все расчленяющей рефлексией, и литература расцвела. Был создан культ литературы. Она стала более насущной, чем сама жизнь.

... А теперь народу уже не до литературы. Но она «научила» его и к жизни относиться отстраненно, и подготовила приход кино, а затем и телевидения – новые ступени деградации. Воспитан инфантильный страх перед жизнью. Опошленные духовные ценности набили оскомину. И мы уже не можем пересилить в себе смертоносное и одновременно самоубийственное отношение к реальности как к игре, бутафории, декорации.

Так, перемежаясь, младоумие, малодушие и ложное высокомерие, взращенные философами и литераторами, порождает тоскливый цинизм во многом, слишком многих... Ищут лекарства – получают отраву.

И пьют люди от того, чтобы через это доступное средство обмануть себя, увидеть себя деятелями, а не тенями в царстве теней. И у меня нет сил докричаться до них. Не могу, хотя бы потому, что не чувствую, что «право имею». Читатель на Руси был мудрее писателей, и сейчас он смотрит на глубокомысленных публичных мужчин с чувством отравленного на некоем престижном банкете, где было столько изысканных яств и вин, где звучали цветистые тосты, но вот назавтра по-нехорошему болит голова и подозрительно беспокойно в желудке.

Еще более жалок удел политиков. Они у нас не нужны изначально, то есть со времени первых прививок западной политической культуры, когда с тупым упорством стали пытаться скрестить швабру с живым деревом. Глубоко чужды нам и демократия, и парламентаризм, и партии, и система выборов, – все то, что чтится в мире политики. Но так как этот мир нахально заполнил собой все, что можно заполнить в общественном пространстве, то и выходит, будто мы играем по принуждению в карты с наглыми шулерами, – вроде как в запертом вагоне с малочисленной, но самоуверенной и спаянной шайкой прохиндеев.

Путь долог. Нам навязывают все новые партии, и мы уже начинаем забывать собственные игры и собственные правила. Воспоминания о них еще теплятся в генетической памяти, но они все более расплывчаты, хотя и вызывают инстинктивное сопротивление шулерской камарилье.

В литературе всегда была «линия». Она диктовалась модой (сатиры, байронизм, демократы и проч.) или прямо политикой. Все бы ничего: «линия» – так «линия», – были бы изначально верные критерии.

Но в том-то и дело, что побудительная основа литературы – оппозиционность традиции. В противопоставлении этим критериям или в противоборстве с ними и «ковалась» литература, нередко, как в случае с Вольтером, прямехонько на деньги врагов отечества. Певцы «от Бога» были изгоями и, как правило, плохо кончали.

Вообще свойства «линии» – насилие над подавляющим большинством, которое ощущало себя вполне на месте и при деле. Психически не совсем здоровые люди с богатой фантазией, сплывались и жалили здоровых, обличали, ерничили, глумились.

Были и выпендрежники («я так вижу»), и плакальщики-профессионалы, то есть те, кто с железной последовательностью доводил до абсурда «подслушанное у народа» или утрировал собственное «народолюбие». Что-то глубоко неестественное, какое-то извращение бытовало в писательском творчестве. Но ладно с этим, – насилие как составляющая литературной моды и литературной политики, заигрывание с властью при видимой независимости, то есть попросту подлость, – вот что непростительно, вот что всегда заставляло с недоверием относиться к

«господам литераторам». Это приложимо и к XVIII, и к XIX веку, и повсеместно в так называемом «цивилизованном мире». Значит, эта подлость – родовое качество клана литераторов, окрещенного в России «орденом русской интеллигенции».

Соперничать с Богом, а не восхищаться Его творением, – вот главный грех литературы и залог ее внутренней несостоятельности, величественным воплощением которого явился Толстой. Сумрачный Демиург сделался тайным идолом почти каждого очередного «творца».

Конечно, в этом дантово-байроническом ряду нет смиренных и радостных строк – таких, как

Открылась бездна – звезд полна...

или

Мороз и солнце, день чудесный...

или

Не жалею, не зову, не плачу...

И вот какую историю я хочу рассказать в связи с этими мыслями.

Чунаю было 18 лет, когда он, студент-экономист, привычным жестом брал половинку капитанского бинокля, подаренного ему еще в то время, когда отец служил в ГДР, и вглядывался в афишу, висевшую над столовой напротив его окон метрах в трехстах.

В гарнизонном Доме офицеров каждый день шел новый фильм, и Чунай всякий раз решал, что делать сегодня, только посоветовавшись с афишей. Было начало лета 1976 года, и потому по русским городкам шел мексиканский хит «Есения».

В уставшей от математических формул голове Чуная установилась первая веха: «20.00».

Он продолжал осматривать знакомые окрестности, которые тренированному взгляду могли сулить нечто неординарное.

Центр городка был как на ладони. Прямо под окнами простирался пустырь, по которому, взмыленные, гоняли футболисты – его ровесники плюс-минус год. Пройдет немного времени, и пустырь благопристойно засадят деревцами. Футболисты перейдут на «запасные поля» в окрестных подмосковных лесах, и будут регулярно играть, несмотря на женитьбы, разводы, перестройки и перевороты.

Играли не как в детстве – «до двадцати», – а чинно, по времени, но без перерывов. Иногда кто-то отбегал к желтой «корове», и, не обращая внимания на «Есению», брал за шесть копеек кружку квасу, заправски опрокидывал ее и снова вбегал в команду.

Перед фасадами городковских пятиэтажек (выше ничего и не было) сновали гарнизонные дамы. Кто с колясками, кто еще без оных. Чунай не смотрел на них – это были уже не героини его романов. «Его» пассии со школьных времен бродили по большому кругу – городковской «окружной», правда, целомудренно огражденной неброским, но надежным бетонным забором. Бродили целыми шеренгами, – но – как стемнеет. Чунайский бинокль не был, как вы понимаете, прибором ночного видения. Девочки были умненькие и появлялись строго после того, как были сделаны все уроки в недавнем прошлом и осмыслены студенческие «пары» энергичного, еще до брежневского инсульта, времени. На осмысление хватало полутора часов дороги в электричке, девочки переодевались, умывались красивыми лапками, обстоятельно кушали, без видимого желания прихорашивались и неторопливо заходили друг за другом еще по школьной схеме – оптимальными маршрутами.

Итак, Чунай медленно переводил вооруженный морским окуляром взгляд – теперь уже по балконам соседней пятиэтажки. Он был веселым белобрысым парнем, но в то же время внутренне – прагматичным шатеном, и понимал, что вряд ли сегодня светит легкая добыча. И вдруг...

– Ба! У нас новенькая! – произнес неумный студизус с котячьим урчанием.

Этот дом, как и практически все обозримые, Чунай знал не хуже, а лучше своих менее неумных, но до крайности жизнелюбивых товарищей.

Чутье и периферийное зрение не подвело Чуная. Квартира на четвертом этаже до сего дня пустовала, и вот – перестала пустовать, да как перестала!

На балконе, еще не закрытом ни фанерой от снарядных ящиков, ни гофрированной, с прожилками, пластмассой, напоминающей о московских нечистых пивных, поливала цветочки с неподражаемой кротостью стройная дева в короткой юбчонке, длинноволосая с прямым подбором. Волосы закрывали, видимо, сосредоточенное, но миловидное ли, неизвестно, лицо.

Чунай замер, оценивая и готовясь к лучшему.

Он знал свою силу, которая была не в пошлой наглости, высокомерии и уж тем более не в натушной высоколобости, типичных для многих его ровесников. Он брал нежным, утробно-добродушным презрением к женскому полу. И последний отвечал ему восторгом.

Чунай в любых обстоятельствах оставался самим собой, и это вызывало уважительное удовольствие в товарищах – вот, мол, какое чудо среди нас обитает – ни под кого не «косит». Подружки же относились к Чунаю как к плюшевому мишке, однако с опаской и неподдельным интересом.

«Мишка» позволял себя трогать, но все остро понимали, что он женщин не считает за людей. Совершенно искренне и открыто Чунай смотрел на них как на иные существа. И вот в том-то и заключался главный предмет любопытства подружек: какого качества и ранга они существа в глазах Чуная. Он же держал их в неведении: гадайте, мол.

Тактика, надо сказать, была победоносная.

Ну так вот. Стройные литые ноги уходили под юбку, очаровательно покрываемую фар-тучком. В талии новенькая почти сходила не нет, выше дело обстояло так: все, что положено, красиво выпирало, везде, где положено, зияли долины вполне пропорциональных размеров и очертаний. Шея... Впрочем, индианские волосы не позволяли продолжить оценку. Чунай удовлетворился тем, что шея – была. Согласитесь – это уже кое-что.

Наконец, акуловский наблюдатель дождался того мига, когда девушка откинула прядь... Чунай был закоренелый «хорошист», памятью особенной не отличался и в детстве путал океаны с континентами, но 1/16 выдержки оказалось достаточно, чтобы Чунай с явно положительного оттенка криком отбросил бинокль и озабочился штанами, потому что до сей минуты барствовал в синем махровом халате.

– Бэрдзыг! – странным голосом констатировал он. В переводе с акуловского это означало хладнокровное: «Персик».

Описывать открывшийся лик бесполезно. Автор этих строк видел новенькую часто и может подтвердить вслед за Чунаем: «Бэрдзыг!»

Но порыв к штанам был явно преждевременен. Вторая вежа дня – «16.00» – отложились, и Чунай схватил первое, что попало под руку, – гитару.

Пока он бренчит, уместно сказать, что Чунай, в отличие от всех остальных, выучился играть на гитаре «по науке» – в музыкальной школе. Заразил этим классе в седьмом столько народу, что вскоре было сколочено несколько ансамблей, которые на школьных вечерах выстраивались в очередь за сценой, чтобы на пару песен завладеть микрофоном, примотанным изолентой к фотоштативу. Гитаре же комсомолец Александр Потапов обязан и прозвищем Чунай. Это прозвище – плод невежества, происходит от английского «ту найт», воспроиз-

веденного немецкоговорящим Александром многократно, публично и усиленно упомянутым микрофоном как «чунай».

Один ушлый парень пытался прилепить Чунаю прозвище «Еврейская Морда». Смысл в этом был: комсомолец Александр Потапов был русоволос, синеглаз, статен и носил нос картошкой. Однако акуловское общество не оценило остроумие ушлого парня, потому что никогда не видело живое лицо еврейской национальности и в силу своего неведения не испытывало никаких особых эмоций как к прозвищу, так и ко всему маленькому, но гордому еврейскому народу.

И Чунай остался Чунаем. Похоже, на всю жизнь...

Промурлыкав минут несколько, Чунай, как и ожидал, ненатужно пришел к следующей мысли в развитие наметившегося распорядка дня, обещавшего не быть неинтересным.

Чунай вышел на балкон и проорал, обращаясь к футболистам:

– Где Кыть?

Знающие ответили, где: вот-вот будет дома.

«Кыть» – так звали друга, который единственным из выпуска поступал и поступил в гуманитарный вуз. Прозвище приклеилось к нему за его манеру часто и быстро употреблять паразитарную фразу «так сказать», которая, действительно, практически спеклась в скороговорное «кыть».

Чунай, внутренне настраиваясь на очередной приступ, повспоминал милые сердцу песни, которые много раз ему помогали в качестве изящных осадных орудий:

Мелкий дождь стучит по гладким крышам,
Падая слезами на асфальт,
И никто на свете не услышит,
Как под шум дождя сердца стучат, сердца стучат...

«Не то», – трезво подумал Чунай, вспомнив рафаэлевское лицо, показавшееся после взмаха руки. Послушная «гэдээровская» гитара подсказала:

Я сегодня дождь, пойду стучать по крышам,
Буйствовать, капли проливать,
В окна тарахтеть, никого не слушать,
Никому ни в чем не уступать, а-а-а...

«Чушь», – понял Чунай на сегодня. В голове вертелись подъезды, охи-ахи на танцах, девчачьи тетрадки-песенники с вырезанными из открыток и наклеенными цветочками, и прочие подобные «темы». Чунай почувствовал некую дегенеративность своего репертуара, – англоязычное же нытье, коим этот же репертуар вроде как облагораживался, его душа не принимала. И он с озабоченным вздохом отбросил гитару, которая ойкнула, будто брошенная женщина, привыкшая и в свои сорок пять считать себя 17-летней принцессой.

В этот-то момент он и решил выйти на балкон.

... Номера телефонов в городке были в два с лишним раза человечнее, чем в мегаполисах. Набрав три «тройки», Чунай уже слышал упыханность Кытя.

– Чему у вас учат? – спросил он.

– Престижная чушь, т-скть, – хохотнул Кыть.

– Не жалеешь, что уехал? – спросил Чунай. Кыть был первым из них, кто переехал в Москву, в общагу на Ломоносовском. Позднее отчалили некоторые «ферзи», чтобы не расплескивать старательность по электричкам. Грустно было смотреть, как везла вчерашняя

классная красавица тюк с какими-то подушками, на глазах теряя свою воздушность. Кыть сказал, что так уходят сделавшие свое дело феи юности.

– Скоро т-скть, все слиняют, – со светлой печалью ответил Кыть. – Умище-то куда девать? Тесен для него городок за крепкой стеною... Говори, чего надо. Я, т-скть, жрать хочу.

– Литературам-то учат? – невозмутимо продолжал Чунай.

Кыть оживился: ему все-таки было немного не по себе от своего «гуманитарного» одиночества. По правде говоря, совсем было не сладко среди совершенно новых людей, когда рядом – никого из «старой гвардии».

– Да, конечно, учат. Долбят, можно сказать...

– Конспектируешь, небось?

Чунай уже знал, что «зарубежку» Кыть читает запоем по библиотекам – институтской и «общежитской». Тот и вправду глотал тома в невзрачных муаровых переплетах, устремляясь вперед и вширь от программы. Образованные москвичи из спецшкол задели его самолюбие, и он решил во что бы то ни стало «догнать» их... во всем. «Хоть глаза сломаю, а проглочу эти тыщи», – твердил Кыть про себя, имея в виду страницы.

– А чего это ты вдруг... с твоими, т-скть, низменными интересами?...

– Твоя, Кыть, задача – докладывать народу обо всем существенном, чего я, народ, знать возможности не имею. Вот и доложи. Утоли мою народную тягу к культурным, б..., ценностям.

– Вы хотите песен? – спросил Кыть, зная Чуная, как облупленного.

– Надо, понимаешь, экспромт задумчивый: случай необычный.

– Сколько у нас времени?

– До двадцати ноль-ноль...

Через полчаса Чунай с фальшивым благоговением перелистывал 90-копеечную толстенную тетрадь, в которой бисерным почерком медалиста в изобилии были переписаны громадные куски из обязательного списка зарубежной литературы, которую обязаны были прочитать и знать будущие гуманитарии.

Здесь были фрагменты поэм, длинные стихи-канцоны, куски задорной западноевропейской прозы.

Чунай внимательно всматривался в строфы.

... Ты б с досады умерла
Если б только поняла
Что теряют недотроги.

– Во дает! Это кто?

– Это Ронсар, большая изящная знаменитость.

Чунай, вдохновившись, начал читать вслух по выбору:

Шла я как-то на лужок,
Флорес агиварес,
Захотел меня дружок
Иби дефлорарес.

– Это что? Как переводится?

– Ну... лишить, т-скть, девственности.

– Е-мое! Значит, если наши туалетные стишки с серьезной харей и за бешеные бабки издать вот так... толсто, они сойдут за культурную ценность? – искренне изумился Чунай.

– Чунай, просил – читай. Я тебе, т-скть, не Данте, чтоб всех по разрядам выстраивать. Хотя пещерный человек, судя по рисункам на скальном, был, т-скть, поприличней...

– Ну, перейдем к прозе, – задорно произнес «народ». – «Декамерон», говоришь?... «Как загонять дьявола в ад». Интересно!?

– А на фиг тебе, т-скть?

– А тебе-то на фиг? Чушь собачья. Это ведь слово из трех букв имеется в виду? – спросил проницательный Чунай.

– Ну... да... Это было написано восемь веков назад...

– Восемь веков... Слово из трех букв... Европейская культура: полбуквы на два с лишним века... – прикидывал скрупулезный Чунай, и вдруг спросил: – А тебе не кажется, что вам мозги компостируют? С этой зарубежной литературой?

– Мы обязаны это знать. Это, т-скть, основы...

– Это? А сейчас, через восемь веков, меня живая здоровая девка за такие вещи пошлет на те же буквы.

– Ладно, ищи. Или пойдем погуляем. «Ферзи», т-скть, на подходе к выходу, – немного обиженно продолжил Кыть, с застарелым чувством восторга, почтения и азарта по отношению к «ферзям».

Данте на Чуная впечатления не произвел.

– По-моему, наш городок больше той Флоренции. По крайней мере, у нас подонков намного меньше. Дите какое-то: губоньки насупило, и ну вместо Бога лепить и ад, и рай, и даже чистилище.

Нет чтоб врагам – по морде, друзьям – по бутылке...

Кыть не выдержал и прыснул, слушая «народного литературоведа». И не столько Чунай рассмешил, сколько сам себя, выучивавший вирши модных поэтов, о существовании которых до своего поступления не подозревал.

– Ладно, вот это – по делу, – снисходительно произнес Чунай.

– Бог мой! Неужто, т-скть, мировые гении смогли угодить Чунаю?!

– Я серьезно. Смотри...

Чунай приосанился. Даже халат запахнул «по-концертному». И, невежа, произнес нараспев строки, которые произвели на него впечатление:

Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына...

Кыть обвалил торс на колени, откровенно ржа.

– Ты пойдешь на свиданье, т-скть, с «Илиадой» на устах?

– Что ты понимаешь в женщинах, – сказал Чунай, надевая штаны. – Надо, чтоб солидно...

Тут все непрямо, все с...

Дальше он произнес слово, многократно более приличное, чем «Декамерон», но которого в нашем нецивилизованном обществе было принято стесняться.

Штаны были надеты. «Ферзям» уделено должное внимание. Футболеры доиграли до счета 18:17. С «новенькой» было познакомлено. Кинофильм «Есения» оказался столь пустым, как и воспоследовавшие через много лет сериалы. Но если последние зомбировали до окаменения, до потери инстинкта самосохранения, то пустота фильма в темном зале способствовала развитию, в том числе фантазии, в том числе Чуная. Десять строк гекзаметром, примененных в нужные моменты, сыграли крайне положительную роль: первый поцелуй – в щечку – был воспринят как лестный знак внимания.

Дальше просто нечего сказать современному, то есть вроде как искушенному и потому несчастному читателю: мы воспитывались на фильмах типа «Верные друзья», где после восьми лет разлуки героиня признается герою в любви, а тот только ручку ее смеет поддержать, да и то недолго. Однако мы, в известной степени «жертвы сталинизма», кажется, имеем благодаря такому воспитанию возможность и способность различать гораздо больше цветов и оттенков чувств, чем изможденные в чрезмерной откровенности, демократические дальтоники, взра-

щенные на выработанных восемью веками «общечеловеческих ценностях» разного рода и степени дегенератов, импотентов, «голубых», наркоманов и попросту психов обоего пола.

... А Кыть постиг подвохи «обязательной литературы» сполна лишь тогда, когда узнал о существовании грандиозной русской цивилизации. Но об этом – не теперь.

Маккартни

Памяти Владимира Мулявина

Когда речь идет о «Битлз», я сразу вспоминаю свой день рождения. Он был крайне знаменателен по меньшей мере по двум причинам.

Первая. Прошло ровно 700 дней со дня первого концерта «вокально-инструментального ансамбля». Ансамбль «Битлз» зародился в 1956 году, во время совместных выступлений Леннона и Маккартни, к которым вскоре присоединились Харрисон и Ринго Старр.

Вторая причина: осталось ровно 6 лет до того момента, когда автор этих строк впервые услышал «битлов» – с пиратской пластинки «на ребрах».

Конечно, «Битлз» – это не «Песняры», но все-таки...

Рождение звезд в наше время активности тайного мирового правительства – явление, мягко скажем, не случайное. «Битлз» во многом были невольным артефактом, созданным колоссальным бездуховным, ростовщическо-циничным монстром вскоре после гигантского, титанического, эпохального столкновения двух сил – Добра и Зла, выразившихся в разной степени в двух противоборствующих странах-народах – России и Германии.

Их столкновение было страшным, потрясшим нервную систему всего человечества. Их битва была и по-солдатски честной. Но не о ней сейчас речь.

Честным было и творчество «Битлз», ставших утешением для миллионов потрясенных землян. Признаком честности стало и то, что их приняла и русская душа. Ведь никакие англичане-американцы и прочие евро не могут в никакой степени понять, что такое русские, и, в частности, что такое русские в XX веке, да и нынешние. Пережить то, что пришлось пережить нам, да еще и выжить!?!...

Им и не снилось, как говорится...

Умный шоу-бизнес сделал так, что томящиеся и вырывающиеся из-под спуда силы, стремящиеся к божественной иерархичности, к законченным и чеканным формам творчества, – чтобы эти силы свели свое существование к цветочным вышивкам на джинсовых попках, типа олл ю нид из лав. Нечто розово-туманное, романтически-неопределенное... Безобидное, одним словом.

Для этого был тщательно отобран-профильтрован образ-характер «нужных» кумиров. Это, конечно, был не только сознательный отбор, но и в своем роде требование времени.

Апатичный Ринго.

Гениальный Джон с тяготившими его замашками интернационалиста и левака.

«Улетающий в стратосферу» Харрисон.

И – Маккартни. Нечто непредсказуемое. Ибо – (и тут можно согласиться даже с британскими ценителями, страна которых – родина первой в мире, хотя и неписаной, конституции, Англии, веселой страны с лучшим фильмом о Шерлоке Холмсе с Василием Ливановым в главной роли, с сотнями тысяч повешенных Кромвелем, с первыми концлагерями в мире в Южной Африке).

... Ибо – Маккартни – славный человек, на нем действительно лежит печать гения. Что крайне важно (не для МИ-6 и даже не для сэра Пола), что его пытались разыграть втемную, но, к счастью, ничего не получилось.

«Битлз» приятно обволакивали юность тех, для кого она пришлась на 60-70-е годы.

Пионерские лагеря с невинными драками и невинными же танцами под «Битлз». Столпотворения на премьерах «Желтой подводной лодки» в кинотеатре «Звездный»... Две стипендии за запечатанный диск, прокручивая который, иногда можно было услышать сардоническое обращение: «Ну че? Битлаков решил послушать?» – и дальше гомерическое ржание...

Официальные пластиночки «Мелодии» со скромным указанием исполнителей: «Вокально-инструментальный ансамбль»...

Дубовые переводы на русский язык, в том числе на украинский: «Колы в руці рука-а-а...» (в смысле «I want to hold your hand»).

До крови разбитые о струны пальцы; сменяющиеся, ревниво следящие за очередью перед замотанным изолентой микрофоном школьные и институтские ансамбли...

Волнение перед взятием крайне серьезных, еще имперских, безденежных, рубежей поступления в лучшие в мире вузы...

Все это – и даже успокаивающее, неслышное для окружающих ритмическое клацанье зубов, все это – «Битлз» и под «Битлз».

И, конечно, небожителями казались те, кто видел их «вживую». Или кто врал убедительно.

Профессор Станислав Иванович Королев – один из немногих советских людей, для кого случайная встреча с «Битлз» стала заметным событием только по прошествии многих лет. Он вспоминает 1967 год, город Ришикеш в штате Пенджаб, по пути к Дарадуну.

В монастыре северной школы йогов Махешийога (в переводе – смеющийся йог) были очень дешевые даже для корреспондента газеты «Труд» кельи.

– Я тогда толком и не знал, что такое «Битлз», – рассказывает Станислав Иванович. – А из здешних англичан знал одного, женатого на тибетке. Он был изрядный пьянчужка и жил тем, что доставал через жену и продавал тибетские ковры. Вырученное он честно пропивал...

И вот во дворике «келейного» городка советский корреспондент видит троих вяло прогуливавшихся молодых людей. Четвертый был в Японии с молодой женой. Остальные прибыли инкогнито по инициативе Харрисона – изучать тибетскую музыку и готовить проект под названием типа «Музыка за мир».

Самое страшное для них было – напороться на корреспондента! Поэтому хитрый русский представился причастным к строительству неподалеку завода тяжелого машиностроения (в те поры мы не мелочились).

В конце концов, приговаривая, что «русские – это экзотично», троица пригласила будущего профессора выпить.

В общем, самым существенным в этой истории было то, что тогда «Битлз» впервые в жизни отведали русской водочки.

В ранней юности (до 45-ти, – вы же понимаете, что упомянутая ранняя юность обычно заканчивается только после первого развода), – так вот, в ранней юности мы мечтали или поговорить, или хотя бы написать письмо Полю Маккартни.

Но нам сегодня под 50. И уже как-то несолидно мечтать о подобном. Кто-то уже успел сконструировать ракету, долетающую до Ливерпуля, кто-то создал чуду-Земфирочку-моюмаленькуююбашкирсуюдевочку. Кто-то пересчитал все (все, в натуре!) звезды. И с Маккартни сегодня встречаются наши дети. Вот беседа корреспондента «Вестей» Ивана Кудрявцева накануне питерского – ровно 3000-го! – концерта сэра Пола 20 июня прошлого года.

– Этот город был столицей империи, но Россия теперь – республика. Какое обращение вам все же предпочтительнее – сэр Пол или просто мистер Маккартни?

– Зовите меня просто Пол. Так проще. Как говорят у нас в Англии, зовите меня, как угодно, только не рано.

– Пол, прежде всего, с днем рождения вас! Как отпраздновали?

– Спасибо! Я прекрасно отпраздновал день рождения в Санкт-Петербурге. Жена устроила сюрприз – отвела меня в ресторан. Хорошо покушали, а потом была вечеринка, мы пили водку и танцевали. Так было классно!

– Вы ведь вегетарианец. А какие-нибудь вегетарианские блюда русской кухни пробовали? Скажем, наши щи из крапивы или квашеную капусту?

– Борщ! Квашеная капуста тоже хороша, но я полюбил борщ. Я ел его в день рождения. Со сметанкой. Отлично! И блины. Блины тоже понравились.

– Пол, вы здесь уже частый гость. Не пора ли получать многократную визу? Дом еще не присмотрели?

– Да, пожалуй... А где бы вы посоветовали поселиться?

– Ну, где-нибудь у Финского залива.

– У меня много домов в Англии. Но спасибо за приглашение. Это славная страна. Мне здесь нравится.

– А где вы храните подарки с прошлого визита? Быть может, фото с Путиным – на камине?

– Да, мы храним эту фотографию дома. На рояле стоит.

– Не собираетесь включить русские мелодии в ваши новые песни? Вы с друзьями экспериментировали с индийскими мотивами, не так ли?

– Нет, пока нет.

– А слышали, что сигнализация в Эрмитаже может сработать из-за концерта?

– Серьезно? В Эрмитаже? Надеюсь, не сработает. Это сильно смахивает на слухи какого-то пиарщика, они обычно такие слухи распускают.

– Вы попали в книгу рекордов Гиннеса, собрав на концерте в Рио самую большую аудиторию. Сегодня ваш 3000-й концерт. Пойдете на новый рекорд?

– Я не стремлюсь к рекордам. Они сами получаются. Просто в Рио-де-Жанейро стадион «Маракана» смог вместить 184 тысячи человек. И сегодня 3000-й концерт в Петербурге. Я бы и не узнал об этом, пока кто-то не подсчитал. Но это удивительно!

– Россия любит Маккартни. Но все же каждый ваш визит превращается в чествование «Битлз». Как к этому относитесь? И почему вообще «битлы» были так популярны в Советском Союзе?

– Нам очень повезло, потому что «Битлз» были популярны во всем мире и даже в России. Мы-то думали, что вы здесь вообще наши пластинки доставать не могли. Мы не ожидали такой популярности в России. Я не знаю почему... Наверное, это было такое особенное сочетание – Джон, Пол, Джордж и Ринго, сочетание музыкантов и личностей. И если что и привлекало людей, так это наша искренность. Если кто-то задавал вопрос, мы не мычали, а потом ввали, мы просто отвечали «да» или «нет». Для всех мы были обычными ребятами, которые играют музыку. Поэтому «Битлз» верили больше, чем другим звездам. И музыка была хорошая. Нехорошо говорить такое про себя, надо быть скромнее, но мы с Джоном создали много хорошего. Вместе и по отдельности.

– А трудно быть сэром Полом Маккартни? Трудно быть звездой? Вы не устали от этого протокола, ежедневных интервью?

– Знаете, никаких проблем. Я очень бережно отношусь к своей частной жизни. Конечно, это грандиозно – трехтысячный концерт, Санкт-Петербург, толпы людей, телеканал «Россия». Но в обычной жизни, у себя дома, я – просто я. Я не разгуливаю повсюду как звезда, я хожу в кино, по магазинам, катаю ребенка в колясочке. У меня все сбалансировано. А во время шоу наступает такой драйв. Но скоро я вернусь домой, и жизнь потечет своим чередом.

– Спасибо большое, Пол. И удачи на концерте!

ОК, Иван... Грозный, спасибо и вам. Молодцы.

А потом шел дождь. В счастливом предвкушении толпы юных и пожилых поклонников сэра Пола плывут в корабликах по Фонтанке, укрытые от дождя одеялами. Экскурсовод – красавица. Центр Питера перекрыт, и потому кораблики – единственный вид движущегося транспорта. Дворцы на фоне свинцовых облаков, а в конце пути – пристань у Дворцовой. И одна девушка говорит: «Как страшно будет, когда Он умрет!»

Многие говорили, невозможно будет жить, когда умрет Высоцкий. Когда Высоцкий умер, говорили, остался Окуджава. Когда Окуджава умер, кинулись в массаж-макияж-вернисаж. Теперь никого не узнать.

Сегодня это самый популярный в мире человек, и если, не дай Бог, что с ним случится, паломничество будет не меньше недавнего ватиканского.

– Сэр Пол, верни бабло! – орали взведенные от нетерпения и черные от волнения сотни.

– Я ждал этого момента полвека! – ревел гигант-бородач.

Полтора часа мыли пол. Он должен был быть сухим перед акробатическими номерами, предварявшими концерт.

Проявляли волнение даже служащие Эрмитажа, восседавшие на балконах Зимнего.

Народ начинал запевать: «В Ленинграде-городе, у Пяти углов получил по морде Саня Соколов. Пел немзыкально, скандалил... Ну и, значит, правильно, что дали...» Потом пошли песни 70-х, «Песняры»...

В это время хороший товарищ (ХТ) уже блаженно восседал на креслах первого ряда.

Потом явились члены правительства, и ХТ согнали с милицией, вертолетами МЧС и призраком Собчака. Он и не возражал. Ибо было понимание момента.

Но как только Маккартни появился, ему с благодным стоном простили давешнее томление.

Юные вундеркинды зачарованно стекленели и подпевали Маккартни практически в течение всего почти трехчасового концерта.

Мы были с другом, который на московский концерт приковылял со сломанной ногой, в гипсе. Эстафету в Питере принял я – в гипсе была левая рука. Так – загипсованными чреслами – бородатые пионеры салютовали кумиру своей юности.

Не обращая внимания на орущего внука, методично подпрыгивал дедок около коляски. Плясали, размахивая пиджачками, девчонки-вертихвостки. Было ощущение счастья. И гордости за то, что в России нет фанатизма – плачей, истерик, разорванных в клочья маек кумиров. Есть внимательная и умная благодарность.

Чем ближе к финалу концерта, тем более энергичные песни исполнял Маккартни, поджарый и моложавый, скачущий без усталости по сцене в красной футболке. Не знаю, сознательно или нет, но тем самым исподволь демонстрировалась недюжинная воля, часто ставившая впрок многих наблюдателей, заикливых на его несколько слащавой, если не смазливой, внешности.

Эта воля проявилась при самом рождении.

Он родился 18 июня в 1942 году. Это стало большим событием в Уолтонской больнице, где мать Пола работала акушеркой. Благодаря этому к роженице отнеслись с особой заботой.

Пол родился в состоянии «белой асфиксии» (острой кислородной недостаточности), поэтому медперсоналу пришлось бороться за его жизнь.

Самый общительный и дипломатичный из всей «четверки», он больше всех заботился о том, чтобы группа поддерживала «здоровый имидж», и делал все, чтобы этого добиться. В мире шоу-бизнеса это также требовало воли.

Образцовая семья в этом мире – редкость. И любо-дорого было следить за Маккартни как отличным семьянином. Кстати, никто, кажется, не задавался вопросом, насколько широко было влияние этого примера. У Маккартни три дочери и сын. Самая известная – Стелла, фэшн-дизайнер. Мэри – фотограф, ее снимки можно видеть на обложках модных журналов. Джеймс – играет на гитаре, «как ни странно», но, молодой парень, по словам папы, еще не определился. Никогда их с Линдой не видели порознь до того самого дня, когда Линда ушла.

Помню фоторепортаж: Маккартни с детьми гуляет по Парижу, сидит с ними в открытом кафе...

Когда стал знаменитым, старался чаще бывать в людных местах. На автобусах ездил. «Прекрати охать, – говорил узнавшей его попутнице, – куда ты едешь?» И люди успокаивались,

и начинали болтать с Маккартни как друзья. То есть он – органичен. Его харизма не колючая, не ледяная. Он не похож на небожителя.

В нем, «звезде» и богаче, совершенно не видно гордыни. Вот и на концерте он вспомнил всех троих. А ведь общеизвестно о его непростых отношениях с Ленноном (однажды тот даже не пустил пришедшего мириться Маккартни в дом). Что до Ринго... «Ринго – мой брат. Мы всегда будем любить друг друга. Он – смешной, он веселый, я ему звоню – и он такой же, каким и был. Нисколько не меняется. Он, Барбара, я и Хеда – очень хорошие друзья», – признавался Маккартни в прошлогоднем интервью «МК».

Сила Маккартни и в том, что он скрывает, и правильно делает, скрывает свою беспорочную связь с небом. Откуда только и могут идти многие из его мелодий.

Он херувим, «буддист», амурное стреляло. И он воплощает в себе тот стеб, который так нужен истрепанному невзгодами человечеству. Но в нем кроется и добрая сила, и бесконечно жизненная грусть. Ведь Маккартни пока еще не спел своей песни «Когда мне будет 664».

Порой он напоминает рассеянного профессора.

«Теряюсь в магазине: где вино, где мыло?

– Не говори мне, что ты ходишь в магазин покупать мыло...

– Да, а что, кто-то не покупает мыло? – ехидно замечает сэр Пол».

Интересна его полудетская аргументация того, почему он живет в Англии, имея возможность жить в другом месте: «Вот, например, приезжаешь в Нэшвилл, и на тебе – каждые полчаса по радио сообщают о надвигающемся урагане. Или в Лос-Анджелесе – то и дело жди землетрясения... Именно поэтому нам не надо было вступать в «Общий рынок».

Объяснение непонятное, но интересное, констатирует матерый английский журналист.

Но главным проявлением особой воли для Маккартни является, конечно, само его фонтианирующее десятилетиями творчество.

Еще в 1976 году на нем многие поставили крест как на буржуа, охладевшем к идеалам молодости, ее бесшабашности. Обаятельная смазливость выпячивалась и подчеркивалась. О Маккартни говорили лишь ехидно.

Он написал «Отдайте Ирландию ирландцам», и песню эту BBC запретило передавать.

Мошь сэра Пола неожиданно для скептиков проявилась в альбоме «Уингз» «Группа в движении». Буржуазный «Макка» оказался способным воспарить над суетой, ничего никому не стремясь доказать.

В 1975 г. Леннон вообще бросил музыку и заперся дома, Харрисон пережил катастрофический провал своих гастролей, был уличен в плагиате. Ринго Старр, скучая по былым временам, увлекся алкоголем, и на вопрос о периоде «Белого альбома» честно отвечал: «Молодой человек, я 1968 год не помню вообще».

Что же делал Маккартни в период тяжелого послераспадного кризиса? Строил дом-крепость в деревне, рожал с Линдой детей и каждый день сочинял и записывал на домашний магнитофон песни. Он боялся, что музыка для него превратится просто в ремесло, а сам он – в студийного клерка. Поэтому в 1973 г. из всех заграничных филиалов звукозаписывающей кампании ЕМІ он выбирает нигерийский – лишь бы оказаться подальше от привычной обстановки. Band On The Run создан именно там, и даже наша «Мелодия» купила на него лицензию.

Еще через полтора года Маккартни собрал вокруг группы Wings крепкую команду музыкантов и отправился в затяжные гастроли по Соединенным Штатам и Канаде, собирая огромные стадионы.

Идеи саморазрушения, романтика смерти и революции отскакивали от него, как ртутные шарики.

«Роскошный удар» – это все, что я могу сделать», – скромно говорил Маккартни журналистам.

«Единственный верный способ заставить людей работать – научить их радоваться жизни», – утверждает Маккартни.

И вот мой мрачный друг, возвращаясь с работы и держа в кармане редкую по нынешним временам зарплату, вдруг останавливается и покупает на все деньги самый дорогой билет на концерт на Красной площади. И ни о чем не жалеет...

Помню, несколько лет назад видел, как снимали клип.

Сэр миллиардер висел под потолком студии, прикрепленный сзади за пояс, и размахивал руками, изображая полет.

Дублей было несколько. Творческие переговоры велись по ходу, прерываемые перекурами на весу и собственно съемкой.

Это было поразительное зрелище!

Кстати и некстати, по данным британского еженедельника «Sunday Times», в 1995 году состояние Пола Маккартни оценивалось в 420 миллионов фунтов. Это поставило его на 20-е место в списке самых богатых людей Великобритании (королева Елизавета II в этом списке занимала 17-е место). Опровергая широко распространенное мнение о себе как о скупердье, он делает пожертвования для благотворительных организаций, таких как «Международная Амнистия». А серия концертов, включавшая питерский, который принес порядка 2–3 миллионов долларов, – благотворительная вся целиком...

Итак, этот пожилой ныне лорд – посланец вечной молодости, пронизанный моцартианской радостью, – утешил живших в прошедшем веке, и сейчас добрался до века XXI.

Если даже мы все сошли с ума, то сэр Пол вводит этот процесс в цивилизованные рамки.

О пользе арифметики

*Яко же тело алчущее желает ясти и жаждущее желает пити,
так и душа отче мой Елифаний, брашна духовного желает...
Аввакум*

Глава первая Коля Шеин

*Весна, роди мне дерево,
Такое, чтоб на нем
Повесить все сомнения -
Пусть сохнут под дождем!*

I

Наконец-то от тещи пришло «добро», и Шеин снес в комиссионку пошлую люстру, сработанную «под хрусталь». Аня мечтала избавиться от верхнего света и развесить по стенам уютные бра.

Два светильника Шеин с грехом пополам прикрутил: около книжного шкафа и на ковре афганской работы. Два еще оставались в коробках. По-видимому, теперь надолго.

Посреди потолка торчал грязно-белый крючок. Коля лежал на софе и смотрел на него поверх «Литературки» бессмысленным взором. Крючок явно диссонировал с ухоженной обстановкой. С ним что-то нужно было делать, но что именно – Шеин не ведал.

Душ перестал шипеть. Через минуту щелкнул выключатель. Загудел фен. Шеин погрузился в статью об экстрасенсах.

Расслабленно шаркая тапочками, Аня прошла мимо овального, в чугунных завитушках, зеркала в прихожей. Мельком глянула на себя: усталые, грустные глаза, располневшие плечи. Волосы безнадежно распрямились. «Надо химию сделать, – подумала Аня. – А впрочем, кому это все...» Она хлестнула ногтями по запертой уже почти год двери в комнату матери, выдохнула, надув щеки, и вошла к мужу.

– Ты уже моешься за двоих! – сказал Коля.

Она не ответила. Прикрыла окно. Подавила зевету, глянув на уличные огни. И вдруг, повернувшись, вся засияла, застыла в улыбке, губу прикусила и чуть ссутулилась:

– Опять разбушевался, видишь?

– Отсюда не видно. Ты подойди, – Шеин отложил газету и приподнялся на кулаках. Аня засеменила к нему, взяла его руку и положила себе на живот.

– Это надо момент поймать... Вот! Чувствуешь?

– Ух ты! Да он там кувyrкается, что ли? И сердце бьется! Господи! Хоть бы нормально все было!

– Сплюнь, постучи, перекрестись!

– Ань, может, мне все-таки не ехать?

– Нет уж, Труп Трупыч. Если ты сейчас не отдохнешь, толку с тебя не будет... Мы все решили.

Она провела ладонью по впалой щеке мужа. Коля склонил голову, уткнулся в колени жены.

– Поезжай, поезжай, правда, – приговаривала Аня, поглаживая его соломенные волосы. – Чемодан набит, билет в кармане. И потом – это же Гурзуф!

– Ладно, – глухо прогудел Шеин. – Неделю, только неделю!

– Ну, спать, папашка!

Аня выключила свет.

II

«Нескончаемые «итальянцы» с отечественным акцентом рвали струны электрогитар. Ударник, казалось, вот-вот начнет использовать все свои ребра и лучевые кости для пушкого эффекта. И только бас-гитара неколебимо стояла. Почти спиной повернувшись к танцующим.

Шеин сидел неподалеку от колонки, в которой в последней схватке сцепились дико орущие динозавры. Коля был в белой рубашке с засученными рукавами и в отутюженных костюмных брюках. Он смотрел в сторону моря и улыбался чуть загоревшим лицом.

Из магнитофона, заключенного в фанерный посылочный ящик, до них доносились только ритмы. Но этого было достаточно. На Ане посверкивали бусы из металлической стружки. Крутов жонглировал фонариками. Розанов то и дело становился на руки и болтал босыми ногами, между этим подпевая фанерному ящику электроорганом, и шея его еще больше напрягалась.

Лепина лихорадило на банджо: сам он вертелся вокруг своей оси, а банджо вращалось как сбесившаяся часовая стрелка.

Шеин пытался вспомнить, когда это было. Семь? Восемь лет назад? А кажется, все тот же ты: беззаботный, готовый весь мир обнять. И все – те же...

Колонка пронзительно профонила, проскрежетала, изрыгнула электронную кашу во всю мощь своих многоваттных легких, и замолчала. Последний динозавр скончался в жестоких конвульсиях.

– Шура-а! Дава-ай! – прокричал кто-то совершенно счастливым молодым голосом из глубин танцплощадки.

Бас-гитара расслабленно повернулась пышноусым лицом и уронила:

– Ща дам.

По танцплощадке пронеслась волна восторга.

«И в радости праздной, и в горькой беде-е...»

Ожили! Но уже не динозавры, а кто-то из другой эпохи. Но там, за купами деревьев, у моря, продолжал танцевать в скачущих лучах фонариков. Ах, как хотелось Шеину стать на цыпочки и увидеть...

Юность, эта таинственная гостья с ямочками на розовых щечках, в одеждах, детали которых никогда нельзя запомнить. Бесшумно прикрыла за собой дверь. И в этом январе, когда Коля Шеин очнулся от своей многолетней улыбчивой полудремы, она была уже далеко: тройка без бубенчиков уносила ее то ли в бескрайнюю снежную степь, то ли в темное январское небо. Впрочем, быть может, ее унесло полуночное такси, теряясь в переулках, освещенных таким уютным желтым светом, заполненных пляшущими снежинками? А все было при нем: любимая жена, первая книжка и друзья, которые врываются в его галактику реже, чем прежде, но шумнее и увереннее – словно кометы, несущие только добрые предзнаменования. Все было при нем... Но впервые привычные радости почему-то стали проскальзывать сквозь душу, не задевая какой-то непонятно откуда взявшийся холодноватый островок. И даже осуществленные

мечты не могли растопить эту ледышку. Наверное, и у мечты есть предельный срок воплощения, после которого она делается постылой. «Постылая мечта... М-да...» Будто внутри соскочила резьба какого-то болта, на котором держалась жизнерадостность. Ничего другого не оставалось, как осмеять собственный серьезный испуг и порешить, что это, по всему, испаряется, обращаясь в рассудочно-спокойные воспоминания, так сказать, молодость.

«Самая тоскливая пора: юношеские радости уже прошли, а хворобы еще не подступили – никаких развлечений. Безвременье!»

Но, стоя у колонки, Коля почувствовал, что эти мысли не совсем искренни. Во всяком случае, сейчас.

С эстрады гремела лихая песня про новый поворот. Под чарующим таврическим небом галопировали молодые ребята, и Коле Шеину даже с высоты своего предельного лермонтовского возраста совсем не печально гляделось на это поколение.

Даже в море светились огни теплохода. Они сигнализировали о том, что эстафета веселья принята и передается дальше, до самого Севастополя на запад, до Судака и Керчи на восток. Все побережье ликовало, радуясь теплой ночи – ярко освещенное. Оно походило на длинную-длинную рампу, на которой происходит многолюдное действо, этакий гигантский экспромт-водевиль. И единственный, но чрезвычайно искушенный зритель терпеливо и внимательно смотрит на эту рампу и не перестает удивляться негромко похлопывая мягкими ладонями прибороя. И забывается дневная вторичность Понта Эвксинского, о которой Коля кокетливо размышлял сегодня утром, обжигаясь о гальку: «Бедный Понт! Ты насквозь изучен и насквозь воспет! Ни одного живого места, наверное, не осталось на твоих берегах – пляжи, волнорезы, груды камней. Весь ты искупан. Перебинтован следами кораблей! И изумляемся мы твоей девственной красоте лишь по старинным гравюрам да стихам нашего гения! Сотни тысяч раз уже смывали волны, засыпали люди зыбкие следы воспетых им женских ножек...»

Но Понт – старикан с бесконечной белоснежной шкиперской бородкой – Понт не так прост, как может показаться! Как знать, нет ли в его вялых похлопываниях издевки, лукавого намека или развеселых воспоминаний, о которых знает только он?

Коля неожиданно для себя почувствовал жажду приключений и полузабытую томительную радость от этой жажды.

III

Стою и ковыряюсь в себе, как старый перечник! Да, не хватает их, как не хватает! Особенно Крутова! Вот уж кто бы давно уже ввинтился в этот сигающий мрак! Всегда у нас с ним было так – желания возникали почти синхронно, но у него они тотчас обретали конкретную форму, и Мишка сломя голову бросался исполнять, прихватывая и захватывая меня. Я даже привык на это рассчитывать.

Не помню, как мы с ним познакомились – задолго до всего факультетского, в нашем военном городке. Отцы наши чем-то схожи: оба далеки от военных дел настолько, насколько это возможно за нашими бетонными заборами. Мой директор школы, его – начальник ГДО... Когда Мишка пошел в театральное, я, восьмиклассник, ревмя ревел – думал, расстанемся навсегда. Уж что-что, а театральное поприще для меня всегда было намертво закрытым. Крутов-старший так старался привить сыну любовь к театру, что казалось, будто он страшно горюет, что в молодости нужда заставила его пойти в военное училище.

Но Крутов в театральное не поступил. Это теперь я понимаю, что с его слабым надтреснутым голосом сие было почти невозможно. А тогда я был поражен: еще бы, кумиру что-то не удалось! Он ушел в армию, отслужил два года на границе, там стал печататься в дивизионке, а по возвращении пошел на журфак. А меня – с собой, в это здание под стеклянным куполом, которое казалось мне недоступным храмом, в эти, тогда прокуренные, как дымовые трубы,

коридоры, в аудитории, где на потолках угадывались фрагменты лепки, некогда разделенной тонкими стенами. Я бы никогда, наверное, не решился, если б не он.

Еще на вступительных мы познакомились с Лепиным – он заправлял арапа абитуриентам. А в первый же день учебы к нам присоединился четвертый – Леша Розанов. Он повел нас в Александровский сад пить кофе. Там засыпал разными историями и анекдотами.

Крутов был уже человек бывалый – а я слушал все разинув рот. Чувство было такое, что прыгал в высоту на метр, а, сам того не ведая, взял три.

Можно сказать, благодаря Крутову и моя личная жизнь устроилась.

Это было на третьем курсе, зимой. Мы тогда были какие-то... перевозбужденные от разных восторгов. Всех четверых, наверное, распирало от желания придумать нечто незабываемое. Тогда Мишка и предложил приехать рано утром тридцать первого декабря в Ленинград, чтобы на обратном пути, в поезде, встретить Новый год.

Приехали, сдали вещи в камеру хранения. А вещи-то были: портфели с шампанским и апельсинами, гитара и грудa серпантина. Помню еще, на железном стуле между рядами автоматических камер храпела нетрезвая женщина в черном замызганном халате. Лепин, вальяжный, в расстегнутой дубленке, из-под которой проглядывал желтый замшевый пиджак и вызывающе-пышный шейный платок алого цвета, подошел к ней, разбудил, поздравил «с наступающим» и подарил апельсин. Она расплакалась и попросилась замуж. Смех и грех...

Тонкие снежинки искрились, редкие машины беззвучно проносились по Невскому – за ними вилаь легчайшая поземка. По обе стороны – таинственно-молчащие дворцы. Спящие кони Клодта, покрытые снегом. Ослепительная луна в просветах между колоннами Казанского собора.

Все четверо были влюблены в Аню.

Я тогда яростно царапал стихи. «Летят спиралью ломаной вослед зиме-тревожнице свечей сожженных призраки и посулы подков...»

Мы с Лешей Розановым жили тогда вдвоем в его квартире на Сивцевом-Вражке. Жгли свечи – желтые пузатые, зеленые с позолотой. А одну спалили, до сих пор помню – в виде красной розы. Жгли и бредили наяву. Воображение рисовало подвиги во славу Отчизны, а жизнь-скупердяйка не давала возможности их осуществить.

Аня даже была слегка напугана стуком коленопреклонений. Она металась между нами, как медсестра в палате с четырьмя тихо помешанными. Которые время от времени взывают и несут романтическую ахиною. Она боялась нас невольно поссорить. Крутов тогда стоически отстранился. Растерянный Лепин забегал в каждую телефонную будку. Чтобы поклясться нам с Лешкой в неколебимой дружбе – он в это время гулял с Аней по декабрьским тротуарам. Она убеждала его, что он ее по-настоящему-то не любит. А мы бросались на каждый звонок. Старались упредить всякое желание друг друга. После бесконечных ночных разговоров обо всем, кроме главного, каждый надеялся проснуться первым, чтобы приготовить завтрак. Если удавалось мне – я жарил яичницу, если ему – то он варил сосиски. Так и шло: сосиски-яичница, яичница-сосиски.

Так, этим невероятным клубком и покатали тогда в предновогодний Питер, страдающие и счастливые, сознавая собственную глупость и в то же время чувствуя, что на нас всех снизошла некая высшая благодать.

Потом вместе каялись: в пять утра, замерзшие, голодные, зашли во дворик на Мойке. Поднялись по лестнице одного из подъездов, и там прямо на лестничной площадке, съели целую утку. Хрестоматийный Пушкин нас бы не понял. Но тот, что стоял во двореке, тонкий, лукавый – простил бы наверняка...

Лепин – тяжело скачущий «Медный всадник» – на литых подошвах «скакал» по Летнему саду среди черных деревьев и белых фанерных пеналов, догоняя скрюченного тщедуш-

ного меня; Леша бежал за сияющей Аней с криком «Держи революционерку! Уйдет!»; Крутов шевелил покрытой инеем бородкой – пел арию Лизы под окнами позапрошлого века.

С высоты Кировского моста виднелись прогалины, в которых проносилась жуткая черная вода. И я в этот момент показался себе вероломным. Я уже знал об Ане все, я уже почти знал исход всех наших страстей.

Лепин шел впереди. По его молчанию и прыгающей походке я видел, как он волнуется. Мы шли к кронверку. Мы были в «первой четверти».

Несмотря на методичные волны времени, на сомнение новых поколений, вялый скептицизм, а, главное, беспощадную, опустошительную иронию, мы сейчас нередко там, в «первой четверти».

И все же, когда мы подошли к обелиску, я, к стыду своему, не мог отделаться от ощущения, которое можно сравнить с тем, что испытывает, наверное, сын, в младенчестве потерявшийся и вдруг под старость нашедший свой отчий дом: с лица у него не сходит блуждающая улыбка признательности, но сердце греет лишь сознание того, что дом – отчий. Но не живое воспоминание.

Потом мы околели, ввалились в метро и обмякли.

Когда вышли наверх, было уже светло. Казалось, уже начался следующий день. Мы спросили, во сколько открывается Эрмитаж – нам ответили, что, как и все магазины, примерно в десять.

Когда мы подошли к «Мадонне Литге», среди группы экскурсантов затихал спор о том, сколько «железных» рублей могло бы поместиться на полотне. Лепин пошел пятнами. А Крутов что-то шепнул ему на ухо, и он стал ровно-алым. Что-то насчет этической тупости, которая страшней эстетической, наверное. Я Крутова знаю.

В конце концов мы апофеозно загрузились в пустой вагон с настежь распахнутыми дверьми. Совершенно вымороженными. Развесили в купе гирлянды, спагетти, надули воздушные шары, апельсины достали, шампанское, гитару, естественно. Часы пристегнули к стержню занавески.

И, когда стрелки подходили к двенадцати, разбудили проводника. Розанов пророкотал курантами, отсчитал двенадцать ударов. И начался Новый год. По-моему, последний из всех, что запоминаются до деталей, каждая из которых на всю жизнь – навес золота...

Мы проснулись, когда поезд уже загнали в тупик. А когда на дизеле подкатывали к вокзалу, Леша шепотом выяснял у меня свидетельские обязанности. Лепин никак не мог завязать свой шейный платок, а Миша непроницаемым взором рассматривал белесую метель. Наверное, с таким же лицом он сидел на земле, когда его окружали конные китайцы.

Но все это прошлое, далекое прошлое. Что-то даже приятные воспоминания стали тяготить. Наверное, потому что на них легко заикнуться? Но душа требует подобия тех дней сегодня. Хотя бы подобия. Иначе на кой я сюда приволокся, в преддверии долгожданного отцовства? Конечно, все еще молодые. Но – иные, иные... А здесь мы были, черт возьми, взаимовплавленные, совсем небитые и беззаботные. Слегка обезличенные, но зато какие счастливые!

И – тех! Розанова на сенокос ни с того, ни с сего отправили, Лепин в какой-то дыре со своим передвижным музеем. А Крутов снова канул... Эти его прожекты! Он то в плавание уйти собирается, то вдруг – техническое образование получать, то устроиться смотрителем маяка. И, бог разберет, где у него серьез кончается, где начинается шутка. Сколько лет его знаю, а распознать эти тонкие переходы не могу. А вообще-то, будь у меня его темперамент... «Мхом обрастаем, – твердит он мне своим ровным голосом, который так не вяжется с его свирепым видом, – там ручку дернул, там кнопочку нажал, здесь штампами отделался – вроде и думать не надо. Вообще не надо! И это называется просто: рак душонки...» Но, это он, по-моему, перегнул...

IV

Бас-гитара в глубине сцены отхлебнула из горлышка «Акдама», который сочетал в себе одновременно и выпивку, и закуску, и с новым вдохновением задержала нижнюю струну.

«Я-а раскрасил свой дом в самый праздничный цве-ет...»

Коля пригладил соломенные волосы и направился к глазастой девушке-девчонке в белом платье с кружавчиками.

Она показалась ему такой же неприкаянной здесь, как и он сам.

– Вас можно на очень медленный танец? – спросил Шеин с поклоном.

– Так музыка ж быстрая!

– Да не очень. А потом, я старый, быстро мне трудновато.

– А сколько ж вам лет? – спросила, как выяснилось, Оля, обвив тонкими руками Колину шею, и захихикала.

– Сто сорок.

– Вы хорошо сохранились.

– Я питаюсь только овощами.

– Жаль...

– Почему?

– А я в столовой работаю, специалист по мясным блюдам. Подруги, правда, говорят – вымирающая профессия...

Оля внешне напоминала Шеину младшую сестру-девятиклассницу: такая же кругленькая мордашка, вздернутый носик. Только у этой нет в глазах той печальной растерянности, которая неприятно удивила Колю в Светке.

Городок сильно изменился со времени его детства. Те же, но постаревшие, уставшие учителя. Отец, что ни выходной, пропадает в гаражах, возвращается навеселе. Потерял всякий интерес к своему директорству. Да и не выпендривались так раньше друг перед другом нарядами и магнитофонами. И уж тем более отцовскими занятиями. Впрочем, и оценки не настолько зависели от того, полковник твой папа или «только» майор.

В один из недавних приездов домой Коля прочитал Светкины стихи – все в семье так или иначе баловались рифмоплетством – по-взрослому безысходные. Исповедь человека, изначально обделенного чем-то теплым, добрым, для души предназначенным. Но даже не стихи заставили Шеина вдруг озаботиться сестрой, с которой его разделял его почти вакуумный разрыв в возрасте.

Под стеклом письменного стола, еще его циркулями исцарапанном, лежали фотографии ее подружек. Девочки не производили впечатления пятнадцатилетних. Не было в них чарующего обаяния, некогда потрясшего Гюго. Накрашенные, сытенькие, и... растерянные. Будто перед ними враждебная одномерная громада. «Неужели нет ничего, что не поддается взвешиванию или счету?» – читал Шеин в широко распахнутых глазах Светкиных подружек и ее собственных.

Он решил тогда, что «надо что-то делать». Но снова закрутился, хотя и навез груды книг и провел цикл душевительных бесед, сознавая, впрочем, что всего этого недостаточно. Мать всякую свободную минуту проводила на садовом участке, да и не было у нее никаких особенных к Светке претензий. Так, этими наездами, случавшимися раз-два в месяц, Коля и утешал и утешался...

– По литовскому обычаю, второй танец – сказал Шеин, галантно не отпуская тонкую девчоночью. Краем глаза он приметил в стороне от танцующих две сумрачные фигуры, и почув-

ствовал, что они решили иметь к нему отношение независимо от его желания. Полузабытое бойцовское сердцебиение странно обрадовало. Он успел даже подумать, что во всех так называемых молодежных повестях эпизоды с драками приводятся потому, что у авторов, по-видимому, не случалось более сильных потрясений.

– Это твои друзья? – спросил он у своей юной партнерши.

– Ой! Это Вовик с «ординарцем»! – пролепетала Оля и прижалась к слегка выпяченной шейинской груди, в принципе-то впалой. – Местные!

– А ты-то откуда?

– Я-то? Из Полтавы, из кулинарного техникума. Нас летом всегда в Крым посылают – вечный аврал...

– А этих ребяташек откуда знаешь?

– Да позавчера только с автобуса вышли, на «пяточке» – сразу их увидели. Они с ходу приставать начали... Что делать-то, а?

– О! Вы не знаете, мадам, с кем вам посчастливилось повстречаться на жизненном пути! Чувствуете бицепсы? – Шеин напряг руку, но Оля бицепсов не обнаружила.

– У меня «серый пояс», – шепнул он. Избыточная шутливость втягивала Колю все сильнее.

Он хотел «по туркменскому обычаю» пригласить ее на третий танец, но передумал. Решил не давать возможности потенциальному противнику собрать все наличные силы, коих, надо полагать, вокруг было рассеяно немало.

В своей жизни Шеин почти не дрался. Это бывало только в городке в составе «единого фронта», который собирался, если приезжали деревенские – специально для того, чтобы сразиться на кулачки. Однако некоторые социально-демографические процессы задели и это развлечение, требующее массовости.

В последний раз автобус из Головенок – так называлась деревня – прибыл к танцам полупустым. «Ре-ребята», к которым Коля к тому времени не испытывал ничего, кроме жалости, увидели, что их прямо на остановке ожидает человек сорок городковских во главе с приехавшими из Сибири незадолго до того могучими братьями Пищенковыми, – и решили не выходить из автобуса. Так и уехали обратно.

С другой стороны, Шеину, конечно, везло. О драках и их последствиях он узнавал или из газет, или от Крутова, которому везло в обратном смысле. Ну, а с третьей, даже когда нарывался, попадал на таких, которые шли на переговоры. В этих случаях обычно немногословный Коля превращался с легкого перепуга в златоуста. Был случай, когда угрозы кошмарного на вид громилы через полчаса перешли в длинную, тяжелую, чадкую исповедь.

Так или иначе, но все более вероятное побоище носило для Шеина оттенок сентиментальных воспоминаний. Где-то далеко остались вселенские неразрешенные проблемы, усталость от семейных забот, грамотная речь окружающих. А главное, думал Коля, может, хоть это поможет растопить хоть на время ту зимнюю ледышку? Видел бы его сейчас начальник пресс-центра: пригожая повариха Оля, танцплощадка, драка зреет...

– Пойдем, парень, потолкуем! – встретил его Вовик. Он был совсем пьяный. «Ординарец» придерживал его за широкий ремень. Шеин оценил вес Вовика и Вовикиной портупей, мельком вспомнил о Розанове, разудалом многоразряднике, и крутовском «хуке левой». Но его разобрал смех.

Вышли за ворота.

– Ну-у? – промышчал Вовик. Запев банальнейший, подумал Шеин, мельком глянув на белое платье с дрожащими кружавчиками.

– Я сейчас милицию позову, – еле слышно пролепетала Оля.

– Ты не подходи, стой там, – сказал Шеин. В голове мелькнуло:

«Кстати, а где же милиция?»

– Ну-у? – повторил Вовик, расстегивая портупею. – Ты че?

– Я-то? – переспросил Шеин. – Я-то лейтенант комитета национальной ответственности капитан Крытов. – И пронес перед угреватым носом Вовика авиабилет Москва – Симферополь.

Увидев, что на Вовика, которому, наверное, и восемнадцати-то не было, это подействовало, Шеин продолжал экспромт:

– Это кто с вами? Ваши, товарищ, показания тоже понадобятся.

– Вовик, Пойдем, он псих, пойдем! – проговорил «ординарец» после секундного молчания, пристально глядя за шеинскую спину. – Он шутит, товарищ, э-э-э...

– Крытов, майор Крытов.

Обалдевший Вовик стал машинально расстегивать ширинку. Коля увидел, как из кустов метнулись в стороны две тени. Сзади вдруг включились мощные фары. Это подъехала милицeйская машина.

V

Это был длинный-длинный зимний день. В него вместились целых пять выступлений. Женщины, собравшиеся на вечерней дойке, со смехом вспоминали, как сегодня утром кудрявый, «как Анджела Дэвис», студент читал в красном уголке какие-то английские стихи и тут же переводил их. В другом селе запомнили, как «студенты» после концерта ехали в радиофицированном автобусе и на всю улицу распевали «Ой, да не вечер». Инструктор райкома, сидя у телевизора, рассказывал жене о молодом человеке свирепого вида, который довел его до колик смеховых словами репризы. А теперь директор пансионата бережно складывая для отчета афишу с надписью: «Состоится выступление «Живой газеты» МГУ».

Свет в зале погасили, и когда Он очнулся, то не сразу понял, что находится в кресле за кулисами. Из оцепенения вывел густой печальный звук, раздавшийся рядом, в утробе пианино. Он сразу понял, кто здесь, но спросил тихо:

– Это – ты? – Голова закружилась. По телу прошли приятные мурашки. Огромное теплое сердце заполнило все тело и властно отсчитывало тяжелые удары. Он вжался в кресло.

Она ответила.

– Ты хочешь мне что-то сказать? – спросил Он и замер. – И тебе что-то мешает?

– Да... Я хочу, чтобы все осталось между нами. Ты сам поймешь.

– Подумай...

– Я все передумала. Не знаю, как начать...

– Ты догадалась... что я тебя... люблю? – Он постарался, чтобы выдох получился негромким. – Ты правильно догадалась. Теперь легче?

– Теперь труднее... У меня никогда не было таких славных друзей. И я очень боюсь вас потерять. Сначала мне была приятна роль Прекрасной Дамы. Это умиляло, веселило. Но так ведь долго продолжаться не может, правда?

– Как бы тебе этого ни хотелось?

– Ты еще не понял, что ты для меня. Свет в окошке...

– Да?

– Не то, не то...

Он глухим голосом назвал имя лучшего друга.

Она нажала басовую клавишу.

Пространство за кулисами наполнилось торжественно-мычащим «до».

– В прошлом году мы вдвоем с Галкой поехали за грибами по калининской дороге, – начала она решительно. – Заблудились и потеряли друг друга. Знаешь, там такие леса... Вышла и на проселочную. Жилье, думаю, близко. Иду, радуюсь. Только за Галку тревожно, она такая никчемная бывает, рассеянная. Слышу: рокот. Два мопеда появляются. Чуть не сбили – еле

отскочила. Хотела крикнуть, спросить... Что-то меня остановило. Вдруг слышу – разворачиваются, и ко мне. Слезли. Подходят, шатаются... О-ох – Она по бабьи уронила голову на руки, лежащие на клавишах. Инструмент мощно и протяжно взвыл.

– Кто тут? – послышался голос из зала. Он увидел сквозь щель в занавесе полосу света из раскрытой двери.

– Сейчас уйдем, – твердо произнесла Она. – Закройте, прошу!

Послышалось шарканье, бормотанье, но дверь прикрыли.

– Тебе трудно – отложим, – сказал Он подавленно.

– Ну нет. Я долго собиралась. Ты должен дослушать... У одного морда тупая, неподвижная. А другой ухмыляется блудливо. Спросила, далеко ли до станции, а у самой поджилки затряслись. Тот, блудливый, говорит: «Мы тебя подвезем. Только чуть позже». И ударил. Я закричала. Не столько удар испугал – тот, другой, деловито так по сторонам начал оглядываться.

– Хватит. Я понял. Я понял, – с трудом произнес Он. Ему показалось таким по-детски жалконьким, беспомощным все, чем они занимались – споры, песенки, книжки, мыслишки. И сам себя почувствовал разбитым, потерянным. Сил не было шевельнуться. Но Она упрямо продолжала, сомнамбулически глядя в одну точку мрака, помогавшего говорить обоим.

– Уже почти стемнело, когда я очнулась. Было странно – не убили! До станции довезла попутка. Галка – чудо – оказалась там же – электричек десять пропустила, ждала все, изревелась. Перепугалась насмерть, видок у меня был... Я молчу, молчу, и вдруг меня стошнило. И рвало, рвало меня, Прекрасную Даму – думала, кончусь. А Галка пытается с праведным гневом в очках. Я ей все и выложила. Она молодец – могила. Она и врача помогла найти. Вот тебе моя история...

Она с трудом поднялась и стала спускаться в зал по скрипучим деревянным ступенькам. Он догнал Ее у входа и... заплакал. Поджарый косяк зачарованно плыл по лунной дорожке к скалистому острову. Был штиль. Блестели звезды. Позади высокий женский голос на берегу выводил восхитительные трели, которые неслись прямо в прозрачные небеса... Позади была досрочно сделанная сессия и первая практика.

Крутов рыл воду своим ежиком и бугристыми плечами. Лепин, пижоня, на плаву дымил сигареткой. Розанов то и дело нырял, чтобы поорать под водой. Шеин, оглядываясь вокруг, втайне ликовал и молился, чтобы подольше длился этот вечер, чтобы подольше покачивались рядом счастливые молодые физиономии.

Они дождались своего – одноклассники Коли Шеина и его «университетские». Они впервые скопом вырвались тогда на крутые гурзуфские улочки. О, как тогда хотелось им всеми порами впитать в себя еще новое тогда ощущение независимости! Как хотелось утолить застарелую полудетскую мечту о море, которое откроется перед ними – всеми и сразу. Как мучила их эта мечта у далекой подмосковной платформы.

Пройдет всего несколько лет, и они откроют для себя, что никакая экзотика не способна сплотить так тесно, как поднадоевшие тогда леса, напичканные шалашами и вигвамами, земляками, специальными полями для хоккея на траве, в который играли особенными клюшками, вырезанными из березы; заветными полянками, болотцами и грибными местами; что даже постылые бетонные плиты, которыми выложены обе улицы их городка, будут вспоминаться ими с нежностью.

А пока они деловито торговались о цене с квартирными хозяйками, притворяясь, что им не безразлично, видно ли из окна море.

Шеин, вспоминая все это, начинал слышать бушующую разудалую музыку – музыку избытка сил. Она действительно звучала тогда постоянно.

Саша Лепин часами бренчал на банджо. Он решил освоить его во время той поездки. Крутов с Лешей ритмично швыряли в воду пудовые каменюки. Даже мидии, поджариваясь на

ржавом противне, потрескивали мелодично. Как-то провожали поздно вечером стайку девушек в горы, где, оказывается, тоже сдавали и снимали жилье. Присели на еще неостывший асфальт. Откуда-то взялся парень с русой бородой и в расписной футболке – попросил гитару на минутку, спел несколько итальянских песен, поблагодарил за внимание и исчез так же стремительно, как и появился. Много их тогда встречалось, таких романтических пижонов. Как хорошо с ними бывало!

... Они вышли на берег неподалеку от певуни, но за скалой. Шеин успел заметить, как она вытягивала шею и закрывала глаза, когда пела. Рядом, уткнувшись подбородком в колени, сидела ее подруга.

Одевались бесшумно и споро. Только Лепин от волнения никак не мог попасть в штанину и несколько раз чуть не завалился.

Розанов вышел из-за скалы на руках. Он чертыхался про себя – идти по гальке было трудно. Леша повернулся всем телом и резко стал на ноги.

Опустившись на колено и вглядываясь в белое неподвижное лицо, он «поставил кассету»:

– С точки зрения материалистической диалектики, я, не имеющий возможности игнорировать тенденции парадоксальных иллюзий, считал бы крайней непоследовательностью, саблезубой дичью и откровенным рахитизмом не поинтересоваться, каким образом возможно столь неземное создание, наделенное столь очевидными невыразимыми положительными качествами, как можно такую красоту экстраполировать за обыкновенное земное имя?

– Он хочет с вами познакомиться, – пояснил Шеин.

– Две пары глаз напряженно смотрели на них. Подружка уже набрала воздуха, чтобы разразиться гневной тирадой, когда из-за скалы грузно выбежал Лепин с «вьетнамкой» в руке.

– Не бойтесь, прошу вас! – пророкотал он срывающимся от миролюбия голосом. – Наш друг Алексей создает собственный этикет, который, не обижайся, Леша! – порой напоминает откровенное хамство. Но сочтите это за эксперимент неудавшийся. Мы от пения обалдели все.

– И тут уж из-за камня вышли «все». В смущении они наступали друг другу на пятки.

– Бог мой, как я испуг... – ни к кому не обращаясь, уронила певунья.

«А где Мишка?» – подумал Шеин.

Лепин, у которого, казалось, жили одни руки, стоял перед дамами навывтяжку, глядя на них в упор всем своим круглым усатым лицом. Он читал Петрарку, словно желая окончательно развеять сомнения насчет своей интеллигентности. Розанов непрерывно шутил, если даже никто не слышал его шуток – Леша любовался блеском своей болтовни и скромно поражался своему воображению.

– И как вас все-таки зовут? – спросил он наконец просто.

Ее звали Аня. Эти стройные ноги уже два года мелькали в коридорах института иностранных языков. Эти карие глаза с голубыми белками двадцать месяцев блестели на крохотном отрезке одной из улиц нашей громадной столицы – от метро «Парк культуры» до садика перед инязом, где три раза в неделю в течение полутора лет Розанов сживал после тренировок секции самбо! Леша в раздумье о том, что мир тесен, «и тем не менее...» выдернул поочередно с полдюжины своих тугих пружинистых волосинок.

Тяжело дышащий, явился Крутов с букетом глициний в руках. Он тут же разделил его пополам. Подружку певуни звали Галей.

Поздно ночью, когда Коля, Саша и Леша, лежа в кроватях, заполнявших половину пространства крохотной комнатки без окон, одинаково заложили руки за голову и сосредоточенно вперились в потолок в полном молчании, Крутов воткнул затычку в надутый матрас и произнес, выпустив стадо белоснежных зубов на поляну в своей татарской бороде.

– Что, втюрились? Все четверо? Или кто об ужине думает?

VI

– Ты не была в Чеховской бухте? – спросил Шеин все еще дрожащую Олю. «Прямо Бельмондо какое-то!» – подумал он самонадеянно. Коля временами казался себе внешне очень значительным и красивым одухотворенной мужской красотой – нечто среднее между Полом Ньюменом и Буниным.

– Пойдем! Это настоящая Италия, только немного засиженная. Зато никаких виз не надо...

– Они спустились по лестнице, выложенной пористым камнем, и свернули к пристани. Там, у дощатых настилов, терлись и постукивали друг о друга катера и мелкие баркасы.

– Каждый второй – с контрабандой! – пугал Шеин притихшую Олю и ловил себя на том, что невольно подражает Розанову.

– А в этом доме Чехов дописал «Трех сестер»... Ну перестань дрожать, перестань!.. Под этой скалой – видишь? – есть грот. В него попасть можно только из-под воды.

– А что там?

– Там – недовольные всем на свете маленькие крабы (это мы раньше) и очень вкусные жирные мидии (это мы теперь, подумал Шеин, только насчет вкуса не знаю)...

Они перелезли через широченную каменную чашу с проломленным краем. Тогда, в первый свой приезд, Коля, как и все остальные, считал эту чашу античной. Теперь же, несмотря на тьму-тьмушую, заметил торчащую арматуру...

– Так вы – писатель? – восхищенно отстранившись, воскликнула Оля и перестала дрожать.

– Какой там! Книжечка стишков вышла, и то еле вышло... Отцовская мечта. Он мне с детства внушал, что наше родовое призвание – литература, журналистика. А у меня душа к этому не лежала – не тот темперамент. Я ведь, Оленька, считай, флегматик. Могу во-он на той скале сесть и просидеть до утра.

– Один?

– Вдвоем-то любой холерик сможет.

– А как ты поступил?

– Нас в школе добротнo учили. Одна «англичанка» переехала в Киев – жаловалась, что там родителей в школу не дозовешься и то, за что у нас железный «тройак» ставили, оценивается с восторгом. У нас почти весь класс поступил в вузы. Да только я один пошел не в технический. Сначала даже неловко было: мне казалось, что учеба – это обязательно зубрить формулы, схемы чертить. А тут – читай – не хочу. У меня друг есть – мы с ним вместе поступили – так он все, что прочитывал, конспектировал. Выписки делал огромные в особую тетрадь. Это чтобы потом эту тетрадь давать нашим «технарям», у которых на художественную литературу времени не хватало...

Крутов как-то подсчитал – он порой увлекался неожиданными подсчетами, – что «городские» студенты, которые на учебу ездили из дома, каждый год проделывали два кругосветных путешествия, сидя за преферансом.

– Представь! – говорил он, пораженный подсчетом и мучимый той же наивной совестью, что и Шеин. – Можно весь шарик – дважды по экватору и по Гринвичу! А тут в лучшие годы каждый день по четыре часа преферанса. Да по Москве минут сорок... почти два месяца в году – псу под хвост. Каждый шестой год жизни. Это если так дальше пойдет – лет десять? Как за ограбление...

Шеину на первом курсе казалось, что и одет он не так, и говорит не то. Специально для него Крутов сочинил «Памятку оптимисту-провинциалу». И действительно Коле становилось легче, когда он вспоминал напыщенный текст: «В куске вечности, который нам отведен, несо-

мненно, есть место для грусти. Без нее просто было бы скучно, как на бесконечной сплошной ярмарке. Страсти порождают вдохновение. Разочарования делают нас опытнее. Воспари, взгляни окрест – и разулыбался душой!..» Далее шли обильные цитаты из средневековой поэзии, переполненные европейскими реалиями тринадцатого века...

– Как интересно! – вздохнула Оля.

– М-да. Интересно... Занялись бесшабашные футболисты красивой заумью, и запутались, запутались... по глупости стали себя от прошлого собственного отделять. А это чревато.

– А у меня каждый день котлы да кастрюли, – вздохнула Оля. – Одна радость – танцы да кино. А мать уже и сюда приезжала.

– А ты что же, зазорным делом считаешь людей кормить?

– Что там я считаю! – вдруг раздраженно сказала Оля, и глаза ее сузились. – Как собачонка – чувствуешь много, а сказать ничегошеньки не можешь. Грубость вокруг, воровство...

Шейн глянул на острые ключицы и снова вспомнил сестру.

– Знаешь, существует такой пресс: снизу – мертвые слова, сверху – мертвые души...

– Читали... Ладно, что толку от разговоров. И что я могу сделать, когда все порядочные люди... флегматики какие-то.

С моря подул ветерок. Становилось зябко.

– Уже поздно. Пора идти, – сказал Оля.

– Да, полтретьего...

У железнодорожной кассы застыли мумиеобразные фигуры в одеялах. Среди них, наверное, были и давешние танцоры, которые теперь дремали, сидя на ступеньках и парапете.

Они вдвоем молча шли по игрушечному, декоративному городку. Коля подумал, что уж слишком здесь все подчинено приезжим. Стало немного обидно за городок и за весь «Понт Эвксинский». Шейн вспомнил затаенное благородство Балтики, и неряшливая щедрость Черного моря показалась ему смахивающей на улыбочивую уступчивость уличной женщины, о которых он читал в заграничных романах.

– Ну, вот и мой дом! – сказала Оля. – Спасибо вам. Прощаемся?

– Что ж, до свидания! – Коля постарался улыбаться. Наступила неловкая пауза. Оля чуть заметно усмехнулась и поцеловала его в худую щеку, нежную и тонкокожую.

С минуту Шейн смотрел, как она исчезает в виноградной глубине гурзуфского двора, где можно услышать сопение или храп едва ли не в любой коробке из-под обуви.

VII

Надо телеграмму дать Ане, вспомнил Шейн, послезавтра ведь ее день.

Он не раздеваясь повалился в кровать, но заснуть долго не мог. Сердце смутно ныло, чуя холодок проклятой ледышки.

Платить так или иначе приходилось за все. Радостное напряжение недавнего прошлого оборачивалось чем-то иным, спокойно-изжитым.

Честолюбивые планы стали казаться нелепыми, смешными, и не потому, что были неисполнимы. Неумолимое конечное «Зачем?» прерывало кажущееся перспективным многоточие и так или иначе ставило точку на любом шейнском планировании. Он чувствовал, что как-то враз отпали как волглая штукатурка с потолка, всякие увеселительно-бодрящие «выходы», которые до сей поры были беспроегрешны в периоды хандры. Напротив, они стали тяготить – мысль все время забегала дальше: хорошо, а что потом? Даже откровения любимых книг он представлял всего лишь плодом изоощренной тоскующей мысли – и не более.

И в то же время Коля не страдал, не стонал, даже не нервничал, сравнивая себя-сегодняшнего с... лыжей, пущенной под горку по твердому насту, которая скользит бесконечно, слабо шурша и подрагивая. Это была не безысходность, не апатия, не картинная меланхолия.

Но Шеин будто летел в теплой безлунной ночи с большой высоты, и в полете то улыбался рассеянно, то впадал в беспамятство, устав от попыток угадать, на что он упадет и жив ли останется.

Шеин извертелся в кровати, сбил простыни в тускло белеющий ворох. Ему захотелось курить, но для этого надо было встать, бежать куда-то, «стрелять». Лунный свет струился на спящий дом, который через несколько часов превратится в улей.

«Дикари», озабоченные тем, как бы побыстрее и подешевле позавтракать, успеть «забить» место на пляже, наполнят гудением тесный дворик. Закричат дети, заворчит хозяйка, провожая низкорослого мужа с заросшей волосами грудью, на которой все же видна обильная татуировка. Тот наденет футболку легкомысленных цветов, шляпу – тень от полей сеточкой покроет его бровастую физиономию – и пойдет на работу, продавать билетки на пляж, попивая «сухонькое», припасать к часу «пик» топчаны и шезлонги и делать строгое лицо, когда рядом остановится мотоцикл с коляской и спасатель в плавках и с мегафоном огласит окрестности грозным предупреждением заплывающим за буйки:

– ... будет изъят из моря и оштрафован на пятьдесят рублей.

А пока млеют в теплой тишине камни оград. Поют цикады. Целуется в санаторских кустах юная парочка. Шныряют по морю прожектора пограничников. И над всем этим устало царствует луна.

Шеин перестал ворочаться и уснул с ощущением артиста, забывшего слова роли во время собственного бенефиса.

Хотелось клеить коробочки. Или детальки какие бездумно шлепать. Или тратить деньги, которых нет, на книги, а книги пролистывать, не читая. Крутов... Многого он добился со своими «позитивными альтернативами»? Крутов... он все так же непроницаемо-оптимистичен, а ты по-прежнему пасешь свой пожухший романтизм... Ну ладно! Хватит! Нет и нет. Если еще и травить себя – жизни не будет, жизни не станет...

Глава вторая

Саша Лепин

*Есть и творится что-то неземное
В космических капустных кочанах,
Когда они синеют под луною
В сырых грядках.*

I

Под колесами грузовика-фургона наконец зашуршало шоссе.

Позади остались громады новых микрорайонов. В просветы лесополос виднелись тесные ряды стандартных дач. Проплывали деревни, кажущиеся в эту слякотную погоду неряшливыми, кирпичные водокачки – будто последние башни рухнувших замков, винные магазины с припавшими к ним вавилонами бурых деревянных ящиков.

Справа и слева начали открываться поля. Горизонт отдалялся. И порой до самой его кромки не было заметно никаких строений, кроме какой-нибудь заброшенной церквухи, упрямо вросшей в землю несокрушимым фундаментом.

Крест ее перекошен и проржавел. В куполе ветер играет. Березка на крыше словно старается прикрыть зияющие дыры своими тонкими веточками, оголенными, как осенью. На стенах внутри – остатки росписей. У святых выбиты глаза пулями минувшей войны. И больше никаких следов последнего времени, кроме разве что корявых автографов туристов. Плиты пола сдвинуты, иные даже расколоты кем-то в поисках подземного хода или во время переезда отсюда склада сельхозинвентаря. Но стоит церквуха, сдвинув темно-рыжие кирпичные свои брови. Таит в себе упорную крепость, о которой не на шутку пеклись ее строители, когда лет сто пятьдесят назад телегами подвозили сюда собранные у всех наседок округи яйца. И в упорстве этом угадывается кем-то заложенная решимость помужествовать со временем.

Время боится пирамид, а к нашим церквушкам относится с пренебрежением. Однако даже их разбитый, дробленный фундамент, ставший нашей почвой – это вызов времени, и вызов серьезный.

Лепин потянулся. Его грузнеющему телу было тесновато в кабине. Он с легкой завистью поглядывал на маленького шофера Женю, которого товарищи прозвали Танкистом – за его коренастую юркость и скупую точность движений.

Шофер бегло осмотрелся и безразлично подул в пухлые каштановые усы. Ничего примечательного он не увидел. На Русскую равнину навалились бесформенные глыбы облаков. В воздухе висела водяная пыль. Сосед пока молчал, и Женю это тревожило – дорога им предстояла дальняя. Они были едва знакомы. Женя впервые вез передвижной музей. Лепин, хоть, похоже, был и ровесником ему, а все начальник. И видок солидный, представительный: черные усы, выразительный взгляд, залысины, осанка, то да се.

Женя еще раз выдохнул в усы и протянул многозначительное «да-а». Ему хотелось говорить.

– Ты что кряхтишь? – спросил Лепин.

– Ошпарился.

– Что?

– Обварился. Психанул. Схватил кипящий чайник – и об стенку. Три недели не заживает. Смех на лужайке, в общем. В Склифосовке намазали чем-то своим, супердефицитным. А когда в районной стали перебинтовывать – такой мази и не нашли. Была бы погода – позагорал бы. А так – не сохнет, и все тут. Лежу, как овощ. Взял бутылку с четвертью. Принял – и все содрал к чертовой матери. Всю ночь не спал. Подвывал все.

– А тройчатку не пробовал?

– Утром сегодня три пачки заглотил. И в кармане одна лежит. Пытка... Одна надежда – облепиха. Шеф дал в дорогу флакончик. Ты потом поможешь, потрешь?

– О чем разговор.

– А сначала-то я тальком сыпанул. Жена по аптекам измоталась, скупала. От этого удовольствия – убиться веником!

– А что?

– Так он же на цинке!

– А отчего ты психанул-то? – Лепин заинтересовался.

– Супруга свихнулась на идее собрать дома высшее общество из своего НИИ. Ну ладно, собрать так собрать. Собрались их чувачки и чувихи – все интеллектуалы. Я – чин чинарем: тут тебе и «Кубанская», и карп свежеумерший. Сначала молча ели-пили. А как подкушали малость – погнали гусей. Понеслась беседа интеллектуальная. Начали с того, что начальник дурак. Потом возмутились, что праздничный заказ был не такой, как хотелось, а потом уж и на Расею-матушку поперли. Все, мол, не так. Я изящно встречаю: чего молотить – все ясно, а предлагаете-то что? Они на меня – как солдат на вошь. В общем, поговорили. Они о поэзии начали, о толстых журналах, а меня супруга – в командировку на кухню, за чайником. Я изящно вышел, изящно за ручку взялся, даже варежку надеть не забыл. И вдруг на меня накатило. Ну и отоварил родные обои...

– А я слышал, ты паинька, спокойный. До тебя шофер был, говорил: «Танкист – это все тип-топ, покой и аккуратность».

– Да все мы паиньки, пока не накатит.

Женя снова пыхнул в усы.

Слева показался капитальный комплекс загородного ресторана. Двое каких-то субъектов вальяжного вида горячо разговаривали у входа, растопырив засунутым в карманы руками полы расстегнутых кожаных пальто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.